

Юлий
Люцифер

ИЗГНАННАЯ ДРАКОНОМ.

ЛАВКА ДЛЯ ЕГО
ПОТЕРЯННОГО СЫНА

Юлий Люцифер

Изгнанная драконом. Лавка для его потерянного сына

<https://litres.ru/74221067>

Аннотация

Пять лет назад меня изгнали из драконьего рода.

Меня назвали виновной в гибели маленького наследника, опасной целительницей и женщиной, которой нельзя доверять даже огонь в печи. Эррен Драугар не стал слушать. Он поверил совету, печатям, лживым свидетелям — всем, кроме меня.

Я ушла и построила новую жизнь в Медном Броде. Теперь у меня есть лавка «Третий жар», травы под потолком, медные иглы в кожаном браслете и дверь, которую я открываю не каждому. Я лечу тех, кого сильные роды предпочли забыть.

А потом ночью на моем пороге появился мальчик.

Худой, молчаливый, с железным следом на шее и меткой рода Драугар на груди.

Тивен.

Потерянный сын Эррена.

Ребенок, за смерть которого меня когда-то изгнали.

За ним пришли быстро. Сначала охотники. Потом сам дракон. Он думал, что сможет войти, назвать свое имя и забрать сына.

Но в моей лавке не действуют приказы.

Особенно приказы мужчины, который однажды уже сделал свой выбор.

Содержание

Пролог. Пепел в детской	5
Глава 1. Лавка на Медном Броде	29
Глава 2. Мальчик под прилавком	57
Глава 3. Метка мертвого наследника	78
Глава 4. Дракон за дверью	97
Глава 5. Правила моей лавки	112
Конец ознакомительного фрагмента.	122

Пролог. Пепел в детской

В Черном Кряже ребенок плакал редко.

Тивен Драугар родился с таким огнем, что в первую неделю после его появления на свет слуги ходили мимо детской с мокрыми полотенцами на руках, а каменные стены вокруг колыбели трижды покрывались тонкой сеткой трещин. Его жар не был злым. Просто маленькое тело не умело держать силу, которая досталась ему по крови.

Меня позвали к нему на девятую ночь после осеннего равноденствия.

Я помнила эту ночь потом слишком хорошо: вкус железа на языке, мокрый край плаща на запястье, слабый запах лаванды от перевязочной, где я только что закончила промывать ожог кухаркиному сыну. В коридоре было холодно, хотя в Черном Кряже никогда не мерзли те, кому дозволено жить ближе к родовому огню.

Мальчишка-посыльный в сером камзоле остановился у двери лекарской комнаты и даже не поклонился. Лицо у него было белым, как мука.

— Госпожа Тарн, вас требуют в северное крыло.

— Тивен? — спросила я, уже вытаскивая из шкафа кожаный браслет с иглами.

Он дернул плечом.

— Старший хранитель велел идти немедленно.
Не отец ребенка. Не кормилица. Не сам Эррен.
Харвик Морн.

Я застегнула браслет на левом запястье. Медные иглы легли вдоль руки знакомым весом: семь тонких, две широкие, одна с полым стержнем для вытягивания яда. Все на месте. Еще я взяла коробку с успокаивающими травами, банку с жирной мазью от ожогов и маленькую жаровню, которую носила к Тивену, когда его огонь начинал рваться через кожу.

Мальчишка смотрел на мои руки так, будто ждал, что они сейчас вспыхнут.

— Что случилось? — спросила я.

Он сглотнул.

— Мне не сказали.

В Черном Кряже не говорили лишнего тем, кто стоял ниже по праву крови. Я была целительницей, не родичем. У меня была комната под крышей, рабочее место в перевязочной и право входить в детскую наследника только потому, что Тивен успокаивался от моих печатей быстрее, чем от песен кормилиц.

Этого хватало, чтобы на меня смотрели с осторожностью. И слишком мало, чтобы мне доверяли.

Я пошла за посыльным.

Коридоры северного крыла тянулись длинными каменными кишками. Узкие окна были закрыты ставнями, под потолком горели янтарные чаши, и свет от них ложился на стены

неровными пятнами. Обычно ночью здесь слышались шаги дозорных, шепот слуг, тихий звон посуды из малой кухни.

Сейчас было пусто.

Так пусто, что я слышала, как в моей коробке перекатываются сухие стебли вербены.

На повороте к детской меня ударил запах гари.

Не кухонного дыма и не свечного фитиля. Дракониий огонь пах иначе: горячим камнем, смолой, медом, если сила чистая, и горькой золой, если ее заставили сжечь то, что она не должна была касаться.

Я остановилась.

— Дальше сама, — сказал посыльный и отступил.

— Кто внутри?

Он не ответил. Развернулся и почти побежал назад, стараясь не смотреть на дверь детской.

Дверь была открыта.

У порога лежал первый стражник.

Я сначала увидела сапог. Потом темную складку плаща, пальцы, сжатые вокруг рукояти меча, и тонкий черный след на камне, будто кто-то провел по полу обугленной веревкой. Стражник был мертв. Лицо его отвернулось к стене, волосы у виска спеклись от жара.

Второй лежал внутри, у окна.

Я вошла.

Комната Тивена всегда была слишком большой для ребенка. Высокий потолок, тяжелые шторы, резные столбы у ко-

лыбели, чаша с родовым огнем на низкой тумбе. На стенах висели драконьи узоры, чтобы малыш привыкал к линии рода еще до того, как научиться говорить. Кормилица жаловалась, что от них детям снятся когти.

Тивен никогда не плакал от этих узоров. Он плакал от чужих рук.

Теперь колыбель была пуста.

Одна ее сторона почернела. Белая ткань свисала клоушьями. На матрасе остался отпечаток маленького тела, вокруг которого пепел лег тонким кругом, почти правильным. Слишком правильным.

Я поставила коробку на стол. Пальцы стали холодными так резко, что застежка на браслете царапнула кожу.

— Где он? — спросила я.

Мой голос прозвучал тихо. В такой комнате нельзя было кричать. Крик только делал правду хуже.

У окна стояли трое.

Харвик Морн, старший хранитель родового права, высокий, сухой, в темном одеянии с серебряной цепью на груди. Рядом с ним двое членов совета, которых я знала по лицам, но не по именам: они приходили на осмотры Тивена не как родные, а как люди, проверяющие ценность будущего наследника. У одного на рукаве была кровь. Не его, судя по спокойному лицу.

Харвик повернулся ко мне.

— Вот и она.

Не “целительница”. Не “Найра”. Даже не “госпожа Тарн”. Она.

Я посмотрела мимо него, на окно. Внутренняя створка была раскрыта, шторы надорваны. На деревянной раме темнела печать — мой знак, три медных штриха в круге. Так я запирала жар на коже ребенка, когда его огонь начинал кушаться.

Только моя печать никогда не выглядела так.

Слишком ровная. Слишком сухая. Без потека крови в нижнем штрихе, который всегда появлялся, если я ставила знак быстро.

Я сделала шаг к окну.

Один из советников перекрыл мне путь.

— Не трогать.

— Это не моя работа, — сказала я.

Харвик медленно поднял брови.

— Что именно?

— Печать. Ее перенесли. Или срисовали.

— Ты только вошла и уже знаешь, что след подделан?

Я заставила себя дышать ровно. В комнате стоял жар, но мне было холодно под ребрами.

— Потому что я знаю, как работаю.

— Удобное объяснение.

На столе у колыбели лежали травы.

Мои травы.

Сухие листья синей мяты, корень дримницы, измельчен-

ная кора горького ясенца. Смесь для глубокого сна, которую запрещали давать детям с драконьим огнем без второго целителя рядом. В моих коробках такие травы хранились отдельно, под сургучом.

Я подошла ближе и увидела на тарелке медную иглу.

Одну из моих широких.

Рука сама метнулась к браслету. Семь тонких. Одна широкая. Одна с полым стержнем.

Одной широкой не хватало.

Я помнила, как утром отстегивала ее, чтобы промыть после лечения солдата. Помнила, как положила на край стола в перевязочной. Потом пришла кормилица Тивена, потом кухаркин сын с ожогом, потом посыльный...

Слишком много рук. Слишком много дверей.

— Это взяли из моей комнаты, — сказала я.

Советник с кровью на рукаве усмехнулся.

— Или ты забыла, что принесла сама.

— Я не была здесь после полудня.

— Это скажет твоя кормилица?

— Спросите ее.

На короткое мгновение в комнате стало так тихо, что я услышала, как в чаше родового огня лопнул уголек.

Харвик опустил взгляд.

— Кормилица мертва.

У меня пересох рот.

Я видела ее утром: полная женщина с красными руками,

которая ворчала, что наследник Драугаров плюется кашей хуже обычного ребенка, а потом, когда никто не смотрит, целовала Тивена в пятку.

— Где? — спросила я.

— В малой комнате за детской.

Я повернулась к узкой двери у стены. Она была закрыта. Под ней темнела полоска.

Не тень.

Кровь.

Я пошла туда, но советник схватил меня за плечо.

— Стоять.

Я вывернулась резко, сильнее, чем позволял мой статус.

— Я целительница.

— Уже нет, — сказал Харвик.

Слова легли на пол, как нож.

Я не сразу поняла их смысл. Не потому, что они были сложными. Потому что мой разум все еще держался за простую вещь: Тивен исчез. Ребенка надо искать. У мертвых уже не попросишь подождать, но живой мог мерзнуть где-то за окном, в руках тех, кто знал, как открыть защиту детской.

— Где Эррен? — спросила я.

Имя вышло хрипло.

Харвик смотрел на меня почти с жалостью. Умел он так смотреть — будто человек перед ним уже упал, просто еще не заметил.

— Его светлость идет.

В коридоре за моей спиной раздалися шаги.

Я узнала их до того, как обернулась. В Черном Кряже у каждого была своя походка. Слуги ступали мягко, чтобы не раздражать драконов. Советники ходили медленно, показывая, что им никто не смеет велеть спешить. Стража — ровно, с железом.

Эррен шел так, будто пол под ним должен был выдержать или расколоться.

Он остановился в дверях.

За эти месяцы я видела его разным: холодным на совете, спокойным у окна детской, усталым после ночей, когда Тивен горел так сильно, что его приходилось держать в мокрых простынях. Однажды он заснул в кресле рядом с колыбелью, а проснувшись, увидел, что я накрыла его плащом. Тогда он ничего не сказал. Только снял плащ, аккуратно сложил и оставил на моем стуле.

Теперь передо мной стоял не тот человек.

Лицо Эррена было серым. Не бледным — именно серым, будто из него за один час вынули кровь и оставили камень. Глаза горели янтарем слишком ярко. По краю правой скулы тянулся черный след копоти. Рубаха на груди была расстегнута, плащ застегнут криво.

Он не посмотрел на меня сначала.

Он посмотрел на колыбель.

Я увидела, как его рука медленно сжалась.

В комнате стало жарко. Не от чаши. От него.

— Где мой сын? — спросил он.

Никто не ответил.

Харвик шагнул вперед.

— Милорд, мы нашли следы.

Эррен подошел к колыбели. Остановился рядом, но не коснулся. На матрасе, где остался пепельный отпечаток Тивена, тлела крошечная золотая нитка с его ночной рубашки.

Я хотела сказать: он не сгорел. Отпечаток слишком чистый, нет кости, нет запаха тела, нет того тяжелого сладкого дыма, который остается после смерти от огня.

Я открыла рот.

Харвик заговорил первым.

— Травы из комнаты госпожи Тарн. Ее игла. Ее печать на окне. Стражники мертвы. Кормилица тоже. Защита детской была открыта изнутри.

Эррен поднял взгляд.

На меня.

Я выдержала этот взгляд, хотя все внутри просило сделать шаг назад. Не от страха перед драконом. От того, что в его глазах уже стоял ответ, к которому он шел быстрее, чем к правде.

— Найра, — сказал он.

Я почти вздрогнула. После “она” мое имя прозвучало слишком живым.

— Это подделка, — сказала я. — Печать не моя. Травы взяли из моей комнаты. Иглу тоже. Тивена могли вынести

через окно, но не так. Посмотри на пепел. Там нет...

— Где он?

Два слова.

Не “что произошло”. Не “что ты видела”. Не “покажи”.

Я почувствовала, как сжимается горло.

— Я не знаю. Но он мог быть жив, когда его вынесли. Колыбель не...

— Где мой сын?

Жар ударил в лицо. На столе лопнула стеклянная банка, и по дереву потекла густая зеленая мазь.

Я не отступила.

— Я пришла сюда после посыльного. Можешь спросить в перевязочной. Я была с кухаркиным сыном, до этого с солдатом из западной башни. Мои иглы видели на столе. Кто-то взял одну. Кто-то...

— Довольно, — сказал Харвик.

Я повернулась к нему.

— Нет. Не довольно. Вы стоите в комнате, где исчез ребенок, и вместо поисков собираете обвинение.

Советник с кровью на рукаве сделал шаг ко мне.

Эррен поднял руку. Советник застыл.

На миг мне показалось, что сейчас Эррен услышит. Не простит, не поверит сразу, но хотя бы остановит это безумие. Он знал Тивена. Знал, как тот реагировал на мои руки. Знал, что я никогда не закрывала окно в детской одна. Знал, что мои печати не оставляют сухого следа.

Он знал меня.

И именно это оказалось самым страшным.

Потому что он посмотрел на травы. На иглу. На окно. На мертвого стражника у стены.

А потом снова на меня.

— Зачем? — спросил он тихо.

Лучше бы он закричал.

— Я не делала этого.

— Ты была рядом с ним чаще всех.

— Потому что ты сам позволил мне лечить его.

— Ты знала защиту детской.

— Как и кормилица. Как и стража. Как и старший хранитель.

Харвик даже не дрогнул.

Эррен медленно повернул голову к нему.

— Она обвиняет совет?

— Она пытается спастись, милорд, — сказал Харвик. — Это естественно.

— Я пытаюсь спасти Тивена! — я не сдержалась и шагнула к колыбели. — Его надо искать сейчас. Не завтра, не после совета, не когда вы решите, кто виноват. Сейчас. След у окна свежий. Пепел еще теплый. Если его вынесли...

— Если? — Эррен произнес это так, будто слово порезало ему язык.

Я поняла.

Они уже решили, что ребенок мертв.

Не потому, что нашли тело. Тела не было. Но мертвого наследника проще оплакать, чем искать украденного, пока каждый час делает вину рода тяжелее.

— Он жив, — сказала я. — Я не могу доказать, но...

— Ты не можешь доказать ничего, — перебил Харвик. —
Кроме того, что все следы ведут к тебе.

Я посмотрела на Эррена.

Не на совет. Не на Харвика. Только на него.

— Ты правда думаешь, что я могла причинить ему вред?

Он молчал.

Иногда молчание бывает хуже обвинения. Обвинение хотя бы имеет форму. Его можно разбить, если найти трещину. Молчание просто стоит между людьми, как закрытая дверь.

— Эррен.

Я не должна была произносить его имя так. Не при совете. Не в комнате, где лежали мертвые. Не с тем, что было между нами последние месяцы: взгляды у колыбели, случайные прикосновения, его плащ на моем стуле, мое имя в его голосе, когда Тивен засыпал без жара.

Но я произнесла.

Он вздрогнул едва заметно. Потом его лицо закрылось.

— Не надо.

Всего два слова.

Они отрезали больше, чем приговор.

Харвик вынул из рукава сложенный лист с печатями. Значит, он пришел подготовленным. Значит, решение лежало у

него в рукаве еще до того, как меня позвали.

Я увидела это и вдруг успокоилась.

Не потому, что стало не больно. Боль как раз поднялась выше, к груди, к горлу, к вискам. Но под ней появилась ясность. Холодная, тяжелая. Она встала на место, где минуту назад была надежда.

— Что это? — спросила я.

— Первое заключение совета, — ответил Харвик. — До полного суда.

— Суда? — я усмехнулась, и звук вышел чужим. — Как удобно. Приговор уже написали, а суд потом.

Эррен смотрел на колыбель.

— Молчать, — сказал один из советников.

Я не замолчала.

— Вы не ищите следы за окном. Не проверяете ворота. Не спрашиваете, кто брал мои инструменты. Не сравниваете печати. Потому что вам нужен не Тивен. Вам нужна виновная.

Жар в комнате стал плотнее.

Эррен обернулся.

— Довольно.

Теперь это сказал он.

Я посмотрела на него и впервые за всю ночь почувствовала страх. Не перед его огнем. Перед тем, что человек, который мог остановить Харвика одним приказом, выбрал остановить меня.

— Найра Тарн, — произнес Харвик. — До решения пол-

ного совета ты лишаешься права служить при Черном Кряже. Твоя комната будет запечатана, имущество осмотрено, записи изъяты. Ты покинешь крепость до рассвета.

Я слушала и смотрела на Эррена.

Он не поправил ни одного слова.

— Если я уйду, след остынет, — сказала я. — Кто бы ни забрал Тивена, он уйдет далеко.

Эррен сжал пальцы на краю колыбели. Дерево задымилось под его рукой.

— Не произноси его имя.

Я замерла.

— Что?

Он поднял глаза.

— Ты не имеешь права.

Вот так просто.

Не имеешь права на имя ребенка, которого ночами держала за горячие ладони. Не имеешь права на правду. Не имеешь права на собственный голос, если твой голос мешает горю стать яростью.

— Я лечила его, — сказала я тихо.

— А теперь он мертв.

— Ты не знаешь этого.

— Выйди.

Слово было негромким.

Стражник у двери шагнул ко мне.

Я могла спорить. Могла броситься к окну, к малой ком-

нате, к колыбели, к любому из них. Могла вцепиться в ложь зубами и тащить ее на свет, пока меня не связали бы на полу.

Но я увидела на подоконнике одну вещь, которую остальные не заметили.

Маленький след.

Не кровь. Не пепел. Крошечная полоска темно-янтарного налета на внешнем крае рамы. Такой оставался, когда драконий огонь ребенка пытался защититься и цеплялся за ближайшую живую силу.

Тивен был жив, когда его пронесли через окно.

И если я сейчас позволю им закрыть меня в подземной камере до суда, я не смогу искать его.

Я опустила руку.

Стражник, ожидавший сопротивления, растерялся.

— Мои записи, — сказала я. — Мне нужны лекарские записи по Тивену. Там дозировки, печати, состояние огня. Если он жив...

— Нет, — сказал Харвик.

— Тогда хотя бы браслет.

— Оставишь.

Я посмотрела на медные иглы на запястье.

Семь тонких. Одна широкая. Одна полая.

И пустое место там, где была вторая широкая игла.

Харвик следил за моим взглядом.

Я медленно расстегнула браслет. Кожа прилипла к запястью. Под ней остался светлый след и маленькая свежая ца-

рапина от застежки.

Положила браслет на стол.

— Довольны?

Харвик не ответил.

Эррен тоже.

Я сняла с пояса ключ от лекарской комнаты. Потом печать младшей целительницы. Маленький медный кругляш, который пять лет казался мне не украшением, а правом быть полезной. Он звякнул о столешницу рядом с иглами.

В комнате пахло гарью, мазью и кровью.

У двери я остановилась.

Не потому, что ждала, что Эррен меня окликнет. В ту минуту я уже поняла: не окликнет.

Я остановилась, потому что услышала за окном слабый звук.

Не голос. Не плач.

Скрежет коготка по камню.

Едва слышный.

Я подняла глаза.

Снаружи, за раскрытой створкой, была ночь. Черные зубцы крепостной стены, косой дождь, ветер, уносящий пепел. Кто-то мог карабкаться по стене. Кто-то мог стоять на карнизе. Кто-то мог держать ребенка так близко, что его огонь оставил янтарный след на раме.

— За окном, — сказала я. — Проверьте карниз.

Никто не двинулся.

Харвик вздохнул.

— Уведите ее.

— Проверьте карниз!

Стражник схватил меня за локоть.

Я дернулась, но без игл, без браслета, без права ударить печатью по камню мои руки были просто руками. Меня вывели в коридор, и дверь детской закрылась за спиной.

Не хлопнула.

Просто встала на место.

И это было хуже.

До рассвета меня держали в малой комнате у северных ворот. Не в темнице: для суда, которого еще не было, это выглядело бы слишком грубо. Комната была чистой, с лавкой у стены и чашей воды на столе. На двери стояла печать Харвика. На окне — решетка.

Я сидела на лавке и смотрела на свои голые запястья.

Без браслета руки казались чужими.

За стеной крепость жила так, как живут места после беды. Люди шептались, бегали, хлопали дверями, но никто не кричал. В сильных домах горе всегда сначала приводят в порядок. Ставят стражу. Созывают совет. Решают, как это будет выглядеть для остальных.

Только потом позволяют матерям и отцам падать на пол.

У Тивена не было матери. Она умерла при родах, оставив после себя слабый запах сладких масел в детской и мальчика с огнем, который не помещался в младенческом теле.

У него был отец.

И отец сейчас выбирал, кому верить.

Когда за окном посерел рассвет, дверь открылась.

Я поднялась.

В проеме стоял Эррен.

Один.

Без Харвика. Без стражи. Без советников.

На один короткий удар сердца я подумала, что он пришел сказать: нашли след. Ты была права. Мы идем.

Но он не выглядел как человек, который идет искать.

Он держал в руке плащ. Мой. Серый, дорожный, с прожженным краем у подола. На второй руке — кожаную сумку. В ней, наверное, были две смены белья, сухой хлеб, немного монет. Ровно столько, сколько дают человеку, которого не убивают из милости.

Он положил сумку на лавку.

— Северные ворота откроют через четверть часа.

Я смотрела на него.

— Ты проверил карниз?

Его лицо не изменилось.

— Следов не нашли.

— Кто проверял?

— Дозорные.

— Дозорные Харвика?

В его глазах мелькнул огонь.

— Не начинай.

Я тихо рассмеялась.

Не весело. Воздух просто вышел из груди таким звуком.

— Вот оно. Не начинай. Не говори. Не произноси его имя.

Не мешай нам аккуратно похоронить ребенка, тела которого нет.

Он шагнул ко мне так резко, что между нами осталось меньше вытянутой руки.

— Ты думаешь, мне легко?

— Я думаю, тебе легче злиться на меня, чем смотреть на свой дом.

Его дыхание стало тяжелее. На шее под кожей прошла темная жилка огня.

Раньше я положила бы пальцы рядом с ней. Не на кожу — рядом, над ключицей, где жар можно было успокоить без прикосновения. Он позволял мне это только в детской, когда Тивен спал и никому из нас не надо было называть происходящее между нами.

Теперь мои руки висели вдоль тела.

— Скажи мне правду, — произнес он.

Я устала. Так сильно, что даже боль стала медленной.

— Я говорила ее всю ночь.

— Зачем твоя игла была там?

— Ее взяли.

— Почему твоя печать на окне?

— Ее подделали.

— Почему травы из твоей комнаты?

— Потому что кто-то хотел, чтобы ты задавал мне именно эти вопросы.

Он смотрел долго.

Я видела, как внутри него борются не доверие и недоверие. Нет. Все было хуже. В нем боролись память обо мне и потребность найти виновного до того, как горе разорвет грудь.

Память проигрывала.

— Совет требует суда, — сказал он. — Харвик требует темницы. Я настоял на изгнании до полного решения.

— Как благородно.

Он дернулся, будто я ударила.

— Ты жива благодаря этому.

— Нет, Эррен. Я жива, потому что им нужна история. Мертвая виновница неудобна: ее нельзя судить, нельзя показывать, нельзя заставить молчать видом собственной вины.

— Ты говоришь о моем роде.

— Я говорю о людях, которые украли твоего сына.

Он отвернулся.

И в этом движении было все.

Он мог не верить мне. Мог ненавидеть. Мог приказать связать и бросить в камеру. Но отвернуться в момент, когда я сказала “твоего сына”, — это было не о власти. Это была слабость, прикрытая законом.

Я взяла плащ.

— Когда найдешь его след, — сказала я, — вспомни эту

комнату.

Эррен резко посмотрел на меня.

— Если ты вернешься в земли Драугаров без дозволения, тебя схватят.

— Значит, мне придется ходить там, где ваши дозволения ничего не стоят.

Он сжал челюсть.

— Найра.

Опять мое имя.

Слишком поздно.

— Что?

Он молчал несколько мгновений. Потом сказал не то, что должен был.

— Почему ты не плачешь?

Я посмотрела на сумку, на плащ, на его руки. На мужчину, который мог бы стать моим домом, если бы дом не оказался крепостью с гнилыми замками.

— Потому что слезы мешают видеть следы.

Я подняла сумку.

На выходе он не коснулся меня. Я была благодарна. Если бы коснулся, я могла бы ударить. Или хуже — на один миг вспомнить, что еще вчера его близость казалась мне безопасной.

Северные ворота Черного Кряжа открывались медленно.

Два створчатых крыла, обитых черным железом, расходились под скрип цепей. За ними лежала дорога вниз, к соснам,

мокрым скалам и землям, где имя Драугар звучало уже не как закон, а как угроза, с которой можно торговаться.

Стражники не смотрели мне в лицо.

У одного дрожали пальцы на копье. Может, он верил в мою вину. Может, нет. В таких домах правда редко что меняет для тех, кто стоит у ворот.

Харвик пришел проводить меня сам.

Он остановился рядом, довольный, сухой, безупречно спокойный. В руке у него был мой медный кругляш младшей целительницы.

— Ты могла бы признаться, — сказал он негромко. — Его светлости стало бы легче.

Я посмотрела на него.

— Вам очень хочется, чтобы ему стало легче.

На лице Харвика ничего не изменилось. Только глаза стали холоднее.

— Умная женщина знала бы, когда надо молчать.

— Умная женщина заметила бы, что печать на окне высохла раньше, чем кровь у двери.

Он чуть наклонил голову.

Почти одобрительно.

— Тогда тебе тем более стоит уйти далеко.

— Боитесь, что вернусь?

— Боюсь? — Харвик позволил себе слабую улыбку. — Нет. Но я ценю порядок. А ты теперь беспорядок, Найра Тарн. Лишний след на чистом полу.

Я запомнила эти слова.

Не потому, что они ранили. Ранил меня Эррен. Харвик просто показал зубы.

— Следы, — сказала я, — иногда ведут к двери, которую вы забыли запереть.

Он улыбаться перестал.

Цепи над воротами дрогнули. Створки открылись шире.

Я вышла.

Дождь сразу лег на лицо мелкими холодными уколами. Дорога под ногами была размокшей, серая грязь цеплялась за подол. Внизу, за поворотом, начинался лес. Дальше — деревни, переправы, чужие постоянные дворы, жизнь без права произносить имя ребенка, которого я не смогла защитить.

На середине дороги я все же обернулась.

Черный Кряж стоял над скалами, тяжелый, мокрый, с янтарными огнями в узких окнах. В северном крыле одно окно было темным. Детская. За ним, наверное, уже смывали кровь, собирали пепел, меняли занавеси, чтобы род мог смотреть на чистые стены и говорить: виновная изгнана.

На башенной галерее стоял Эррен.

Далеко. Почти неподвижный. Черный плащ бился у ног, как крыло, которому не дали подняться.

Я не подняла руку.

Он тоже.

Ветер швырнул мне в лицо мокрую прядь волос. Я отвернулась и пошла вниз.

Только у поворота, где дорога уходила между соснами, я разжала кулак.

В ладони лежал крошечный кусок обугленной ткани.

Я взяла его с края колыбели, когда снимала браслет. Никто не заметил. Черный лоскут пах не смертью и не чистым драконьим жаром. Под гарью держался другой запах: серое железо, болотная горечь и холодная смола, которой запечатывают перевозочные ящики.

Ребенка вынесли не через смерть.

Его увезли.

Я спрятала ткань за подкладку плаща и пошла быстрее.

За спиной Черный Кряж закрывал ворота.

А впереди начиналась дорога, на которой у меня не осталось ни имени при роде, ни инструментов, ни защиты.

Только чужая ложь.

И первый настоящий след.

Глава 1. Лавка на Медном Броде

В Медном Броде за лечение платили чем могли.

Медью, если год выдался удачным. Сушеной рыбой, если река не капризничала. Поленом хорошей березы, если у человека не было ни монеты, ни стыда прийти с пустыми руками. Однажды мне принесли петуха в мешке, дважды — башмаки, которые не подошли покойному хозяину, и один раз — серебряную серьгу без пары, завернутую в детский носовой платок.

Я брала не все.

У детей не брала ничего. У стариков — только если они начинали ругаться и грозили уйти к костоправу Бриску, который лечил переломы так, будто мстил костям за личную обиду.

У купцов брала вдвое.

Не из жадности. Просто у купцов всегда находились деньги на третью бочку вина, но никогда — на мазь для подмастерья, который обварил руки, разгружая их товар.

В то утро медные монеты лежали у меня на прилавке тонкой кучкой. Я пересчитывала их большим пальцем, пока на жаровне доходил отвар из чернокорня и кислой вербены. Запах стоял такой, что у входа морщились даже здоровые. Горький, мокрый, с тяжелой болотной нотой. Хороший запах. Нечистая лихорадка его не любила.

За окном тянулся обычный сырой рассвет Медного Брода.

Город стоял на переправе, где широкая река делала изгиб между глинистыми берегами. Весной тут все пахло мокрой землей и конским потом. Осенью — дымом, рыбой и дешевым пивом. Зимой ветер с воды бил так, что на ставнях появлялась корка льда с внутренней стороны, а люди разговаривали коротко, не открывая рот шире нужного.

Мне нравился Медный Брод.

Не сразу. Первые месяцы я ненавидела его за грязь, за тесные улицы, за чужие взгляды и за то, что по ночам здесь никто не знал моего имени достаточно, чтобы прийти и выгнать меня снова. Потом привыкла. Потом поняла: место, где тебя никто не ждет, иногда честнее места, где тебя когда-то ждали неправильно.

Лавка “Третий жар” стояла на нижней улице, между кузницей Марека и домом Руты Брай, у которой на первом этаже была кухня для возчиков. Дом был старым, перекошенным от сырости, с низкой дверью и двумя окнами, которые я сама укрепила медной сеткой. Над входом висела вывеска: черная жаровня, три язычка огня и мое имя мелкими буквами.

Найра Тарн. Целительница.

Никаких родов. Никаких печатей Черного Кряжа. Никаких прав, дарованных сильными людьми.

Только ремесло.

Я взяла щипцами узкую медную пластину, подержала ее

над жаровней и дождалась, пока на металле проступит тусклая полоса. Пороговая печать отзывалась ровно: защита была цела. Ночью никто не пытался ломиться внутрь с оружием, приказом или дурным намерением.

Это не значило, что день будет спокойным.

В Медном Броде спокойные дни обычно заканчивались тем, что кто-нибудь приносил в лавку палец в тряпке и удивлялся, почему его нельзя пришить обратно после трех часов в кармане.

Колокольчик над дверью звякнул сразу после того, как я сняла отвар с огня.

Вошел мальчишка лет четырнадцати, высокий, костлявый, с волосами, обгоревшими с одной стороны. Под правой рукой он держал левую, завернутую в грязный фартук. За ним протиснулся Марек, кузнец, шириной почти с мою дверь и с лицом человека, который уже заранее решил, что все обойдется.

— Опять? — спросила я.

Мальчишка покраснел.

— Я не виноват.

— Это ты мне в прошлый раз говорил, когда раскаленный гвоздь оказался у тебя в сапоге.

Марек кашлянул в кулак.

— Он щипцы уронил.

— Щипцы сами прыгнули?

— Почти, — буркнул мальчишка.

Я указала на табурет у стола.

— Садись, почти.

Его звали Рид. Второй месяц у Марека. Первый месяц я считала, сколько раз он к нам зайдет, потом сбилась. В нем была та особая смесь упрямства и невезения, которая в кузнице обычно либо убивала, либо делала мастера.

Я размотала фартук.

Ожог был плохой, но не безнадежный: кожа на ладони вздулась, у основания большого пальца почернела узкая полоска, от которой шел запах жженого мяса. Рид отвернулся, когда увидел собственную руку.

— Смотреть сюда, — сказала я.

— Не хочу.

— Хочешь. Если смотришь, меньше выдумываешь.

Он послушался. Губы у него побелели.

Марек за моей спиной шумно вдохнул.

— Найра...

— Выйдите.

— Я только...

— Марек.

Кузнец закрыл рот, посмотрел на подмастерье, потом на меня и вышел на улицу. Доски пола вздохнули под его сапогами, но не больше: я давно укрепила лаги, иначе после каждого визита кузнеца у меня с полок сыпались банки.

Я промыла руку Рида теплой водой с солью. Он дернулся, но не закричал. Хороший знак. Боль была живая.

— Сколько пальцев чувствуешь?

— Все.

— Врешь?

— Нет.

— Тогда скажи, какой я трогаю.

Он стиснул зубы, пока я легко касалась кожи вокруг ожога.

— Средний. Мизинец. Большой... ох, чтоб его.

— Большой тоже живой.

— А я нет.

— Не драматизируй. До смерти тебе еще лет шестьдесят, если Марек раньше не даст тебе молот побольше головы.

Рид фыркнул и тут же зашипел от боли.

Я наложила первую мазь — густую, темную, с рыбьим жиром и пеплом чистотела. Она снимала верхний жар. Потом взяла тонкую иглу из браслета, нагрела над огнем и сделала три прокола у края вздувшейся кожи, чтобы выпустить лишнюю жидкость. Магия здесь была не в сиянии и не в красивых словах. Она была в точности: где проколоть, сколько жара забрать, какой тканью закрыть, когда остановиться.

Пальцы Рида дрожали.

Я положила рядом с его ладонью медную монету.

— Держи взгляд на ней.

— Зачем?

— Чтобы не смотреть, как я снимаю кожу.

— Вы ужасная женщина.

— А ты живой мальчишка с рукой, которую еще можно спасти. Мы оба не идеальны.

Он выдохнул сквозь зубы.

На последнюю повязку ушло почти четверть часа. Я обмотала ладонь тонкой тканью, промазанной светлой мазью с ольховой корой, и сверху закрепила мягким ремнем.

— Три дня не подходить к горну.

Рид открыл рот.

— Три, — повторила я. — Не два с половиной. Не “я только посмотрю”. Не “мастер отвернулся, а я помог”. Три.

— Марек убьет.

— Марек заплатит.

За дверью сразу послышалось недовольное сопение.

Я повысила голос:

— И принесет сухой уголь без каменной крошки. Тот, что он прячет для тонкой стали.

Сопение стало тяжелее.

— Слышал? — спросила я Рида.

Он кивнул, пряча улыбку.

Когда они ушли, на прилавке остались медяки, сверток угля и маленький кривой гвоздь, который Рид, видимо, выложил из кармана вместо благодарности. Я посмотрела на гвоздь, потом сунула его в ящик. Пригодится. В моей лавке даже кривые вещи рано или поздно находили работу.

Второй пациент пришел ближе к полудню.

Девочку принесла мать, мокрая от дождя и страха. Девоч-

ка висела у нее на руках слишком тихо, лицо горело, ресницы слиплись, губы стали сухими и темными. Мать сразу начала говорить много, сбивчиво: вчера кашляла, ночью озноб, утром не проснулась, муж уехал с обозом, денег нет, но она принесла...

Она стала вытаскивать из-за пазухи тряпичный узел.

Я остановила ее рукой.

— Потом.

— Там яйца, госпожа. Шесть. Одно треснуло, но оно свежее, я утром...

— Потом, — повторила я. — На стол.

Женщина положила ребенка так осторожно, будто боялась, что девочка рассыплется.

Я не любила детскую горячку.

Сломанные кости, ожоги, ножевые раны — все это было честнее. У них были края. Боль стояла там, где ее видно. А горячка пряталась внутри, забиралась под кожу, в легкие, в кровь, в сон. Сидела тихо, пока взрослые бегали вокруг и просили богов, врачей, соседей, кого угодно — только бы ребенок снова открыл глаза.

Я наклонилась над девочкой. Лет пять, может шесть. Светлые волосы прилипли к вискам. На шее билась тонкая жилка.

— Имя?

— Мала.

Имя ударило неприятно. Маленькое. Домашнее. Такое

имя обычно дают, когда ребенок рождается слабым, а потом привыкают и уже не меняют.

— Когда пила последний раз?

— На рассвете. Два глотка.

— Рвота была?

— Нет. Только жар. И она... она будто не слышит.

Я проверила зрачки, дыхание, живот. Потом осторожно коснулась ладонью груди и закрыла глаза.

Не драконий огонь. Не проклятая искра. Простая человеческая горячка, но глубокая, с привкусом речной сырости. Таких много шло после дождей, когда дети бегали босиком по затопленным дворам, а потом спали у холодных стен.

— Она останется здесь до вечера, — сказала я.

Женщина побледнела.

— Я не могу заплатить за...

— Я не сказала про плату.

— Но...

— У вас есть кто-то дома?

— Младший. Ему два года. Соседка смотрит.

— Идите к нему. Вернетесь, когда солнце сядет. Если станет хуже, за вами пошлют Руту.

Мать не двинулась.

Я знала этот взгляд. Женщина не хотела оставлять ребенка незнакомому человеку, но уже принесла ее ко мне, потому что дома девочка могла умереть. Доверие не появлялось от слов “я помогу”. Оно появлялось, когда ты отдавал самое

дорогое и не знал, вернут ли.

— Сядьте, — сказала я мягче. — На пять минут. Потом пойдете.

Она села у стены, вцепившись в тряпичный узел с яйцами.

Я работала молча. Раздела девочку до рубашки, обтерла водой с уксусом, растерла ступни шерстяной тряпкой, поставила на живот теплую ткань с горькой солью. Отвар из чернокорня пришлось разбавить медом, иначе ребенок не проглотил бы. Для глубокого жара я взяла не иглу, а медную ложку: нагрела, остудила до нужной меры, провела по печати у ключицы. Кожа под ложкой покраснела, потом стала влажной.

Мала застонала.

Мать всхлипнула, но не бросилась к столу. За это я ее уважала.

— Хорошо, — сказала я. — Слышите? Она спорит. Значит, еще здесь.

Женщина посмотрела на меня так, будто я сказала что-то святое. На самом деле я просто сказала правду.

После полудня Мала уснула легче. Жар не ушел, но перестал подниматься. Я перенесла ее на узкую лежанку за занавесью, где у меня обычно отсыпались те, кому нельзя было сразу идти домой. Мать все же ушла, оставив яйца на прилавке и три медяка рядом. Я два медяка вернула ей в карман плаща, когда она не смотрела.

Третий посетитель не был больным.

Это стало понятно сразу, потому что больные входили иначе. Одни торопились, будто если успеют рассказать все быстро, боль испугается и отступит. Другие, наоборот, двигались медленно, экономя силы. Этот вошел как человек, который считал чужой воздух своей собственностью.

Купец Фаррик Нойш. Красное лицо, короткая борода, слишком широкие рукава. Он торговал тканями и красками, а еще любил говорить “мы же соседи”, хотя жил на верхней улице и по нижней ходил только тогда, когда хотел купить что-то дешевле.

За ним стоял мальчик-носильщик с забинтованным предплечьем. Повязка была моя. Вчера я накладывала ее после того, как на мальчишку пролили едкий закрепитель для краски.

— Госпожа Тарн, — начал Фаррик сладко. — Надо бы посмотреть руку.

— Садись, Ярс, — сказала я носильщику.

Мальчик сел.

Фаррик положил на прилавок две монеты.

Я посмотрела на них.

— Это за что?

— За перевязку.

— Этого хватит на чистую ткань.

— Так ткань же ваша.

— Теперь понимаю, как вы разбогатели.

Фаррик улыбнулся не глазами.

— Время трудное.

Я сняла повязку с руки Ярса. Кожа заживала плохо: края ожога раздражены, внизу появилась желтая влага. Мальчик молчал, смотрел в пол. Лет двенадцать. Плечи острые, запястья тонкие, под ногтями въевшаяся синяя краска.

— Он работал сегодня? — спросила я.

— Немного помогал.

— Я сказала вчера: не мочить, не носить тяжести, не работать с краской.

— У меня лавка, госпожа Тарн. Люди не могут лежать из-за каждой царапины.

Я подняла взгляд.

— Тогда зачем вы пришли?

— Ну, чтобы вы снова помазали.

— Чтобы потом он снова пошел таскать мокрую ткань?

Фаррик развел руками.

— Я же не могу держать его на подушках. Он ест мой хлеб.

Я услышала, как за занавесью Мала закашлялась во сне. Маленький, сорванный звук. Ярс дернулся, будто хотел встать и помочь, хотя сам держал больную руку на коленях.

Фаррик не повернул головы.

Я взяла с полки чистую банку. Не ту, что обычно давала бедным. Лучше. Дороже. С серебристым налетом на поверхности мази.

— Это остановит гниение, если руке дадут покой. Полный. Семь дней.

— Семь?

— Да.

— У меня поставка через два дня.

— Тогда таскайте сами.

Он моргнул.

— Вы шутите?

— Нет.

— Вы не имеете права вмешиваться в мои дела.

Я закрыла банку крышкой.

— А вы не имеете права приводить ко мне ребенка, портить мою работу и ждать, что я буду чинить его по кускам, пока он не перестанет быть полезным.

Фаррик покраснел сильнее.

— Он мой ученик.

— Он ваш носильщик.

— Я плачу.

— Мало.

Он вытащил еще монету, бросил на прилавок.

Я не взяла.

— Десять серебряных.

— За банку мази?

— За мазь, перевязки, семь дней покоя и вашу память.

— Вы сошли с ума.

— Возможно. Но рука у Ярса одна. Вторая тоже есть, конечно, но лучше не проверять, сколько времени вам понадобится, чтобы испортить обе.

Фаррик наклонился ко мне.

— Осторожнее, госпожа Тарн. В Медном Броде любят целителей, пока те помнят свое место.

Там, внутри, где давно лежал пепел детской и северные ворота, что-то тихо подняло голову.

Не страх. Страх я знала хорошо. Он делал руки внимательнее.

Это было другое.

Я положила ладонь на прилавок между нами. На дереве под кожей была вырезана защитная линия: обычный пороговый знак, не видный тем, кто не знает, куда смотреть. Я не стала активировать его. Просто дала пальцам лечь рядом.

— Мое место здесь, Фаррик. За этим прилавком. С этой стороны. А ваше — там, где вам не приходится угрожать женщине, чтобы сэкономить на ребенке.

Он смотрел на меня долго.

Потом полез в кошель.

Серебро легло на прилавок тяжелым, приятным звуком. Десять монет. Я пересчитала при нем, медленно. Он это заслужил.

— Ярс останется у Руты на кухне три дня, — сказала я. — Потом будет приходить ко мне утром и вечером. На склад не вернется неделю.

— Он...

— Или я расскажу всем возчикам, что ваши синие ткани жгут кожу до мяса, а вы экономите на лечении. Вы же знаете

Руту. Через час об этом будут говорить даже рыбы в реке.

Фаррик сжал рот.

— Вы очень неприятная женщина.

— Сегодня мне уже говорили, что я ужасная. Неприятная

— почти отдых.

Ярс вдруг тихо улыбнулся.

Фаррик вышел, хлопнув дверью так, что колокольчик над ней звякнул три раза подряд.

Я перевязала руку мальчика заново. Когда закончила, он шепотом сказал:

— Я могу у Руты полы мыть.

— Левой рукой?

— Ногами.

— Ногами будешь ходить. Полы помоем кто-нибудь другой.

— Я не люблю просто сидеть.

Я посмотрела на него.

— Тогда будешь чистить лук. Одной рукой это можно.

Он кивнул с таким серьезным видом, будто я доверила ему охранять корону.

После ухода Ярса лавка наконец притихла.

Я вымыла стол, сменила воду, записала в тетрадь: Рид — ожог ладони, три дня покоя; Мала — речная горячка, наблюдать дыхание; Ярс — химический ожог, мазь с серебряной солью, не отдавать Фаррику раньше недели.

Слово “не отдавать” получилось резче остальных.

Я провела по нему пальцем, размазывая еще влажные чернила.

Не отдавать.

Смешное правило для целительницы, у которой не было ни власти, ни стражи, ни права говорить родам, что им делать со своими детьми.

Но за пять лет я усвоила одну вещь: иногда дверь с хорошей печатью лучше закона, который пишут люди вроде Харвика Морна.

К вечеру дождь перешел в мелкую ледяную морось. Улица за окном расплылась в серых полосах. Кузница Марека гудела ниже обычного — без Рида, наверное, мастер ворчал сам на себя. От кухни Руты тянуло жареным луком, ржаной похлебкой и дрожжевым тестом. Я услышала ее голос через стену:

— Ярс, если ты этой рукой тронешь ведро, я тебя этим ведром и накрою!

Мальчишка что-то ответил.

Рута сказала еще громче:

— Не умничай, сирота складская, у меня своих умников полный двор!

Я невольно улыбнулась.

Мала проснулась на закате. Жар спал не полностью, но глаза стали осмысленными. Она попросила воды. Потом спросила, где мама. Потом заплакала — тихо, обиженно, как плачут дети, которые уже поверили, что их тело предало их,

а взрослые почему-то не могут сразу все исправить.

Я села рядом и дала ей чашку.

— Мама скоро придет.

— Правда?

— Правда.

— А я умру?

Вопрос был задан без драматизма. Дети часто спрашивали прямо, потому что еще не научились беречь взрослых.

— Не сегодня, — сказала я.

Она подумала.

— А завтра?

— Завтра тоже занята. Тебе надо будет пить горькое.

Мала сморщилась.

— Не хочу.

— Вот видишь. У тебя уже есть планы.

Она посмотрела на меня с сомнением, но воду допила.

Когда мать пришла, у нее дрожали губы. Она увидела, что дочь сидит, и едва не уронила принесенную корзинку. В корзинке были еще яйца, кусок сыра и маленькая тряпичная кукла, слишком старая для Малы и слишком бережно зашитая, чтобы быть ненужной.

— Не надо, — сказала я, когда женщина потянулась к сыру.

— Надо.

— У вас младший дома.

— Он ел у соседки. Возьмите.

Мы посмотрели друг на друга. Я взяла сыр. Не потому, что мне нужен был сыр. Потому что иногда человеку нужно заплатить, чтобы не чувствовать себя нищим перед чужой добротой.

— Завтра утром снова ко мне, — сказала я. — И ночью следите: если начнет хрипеть или губы посинеют — бегите сразу.

Женщина кивнула так часто, что я положила ей руку на плечо.

— Медленно. Вы меня слышали?

— Да.

— Тогда идите. И заверните ей ноги.

Они ушли почти в темноте. Мала сонно прижималась к матери, тряпичная кукла торчала из-под плаща, одна нога наружу. Я стояла у двери, пока они не свернули к верхним домам.

После этого лавка стала моей.

Наконец.

Я закрыла дверь на нижний засов, но верхний оставила открытым. В Медном Броде знали: если верхний засов не опущен, значит, целительница еще принимает тех, кто не дотянет до утра. Это правило появилось не сразу. В первый год ко мне стучали в любое время ради нарыва на пятке или головной боли после дешевого самогона. Потом Рута однажды вышла на улицу с половником и объяснила людям разницу между “помираю” и “потерплю до рассвета”.

С тех пор ночью стучали реже.

Я прибрала инструменты. Медные иглы сняла, промыла в спирте, разложила на ткани. Широкая игла, новая, купленная три года назад у молчаливого мастера с юга, все еще казалась чужой. Я привыкла к старому набору так, как привыкают к собственным костям. Тот браслет остался в Черном Кряже, на столе рядом с ложью.

Иногда я думала, что Харвик хранит его как доказательство.

Иногда — что выбросил.

Хуже всего было третье: что он отдал его кому-то другому, и мои иглы снова касались детской кожи, только уже в чужих руках.

Я закрыла ящик резче, чем собиралась.

На полке тихо звякнули банки.

— Тихо, — сказала я самой себе, не лавке.

Говорить с собой считалось дурной привычкой. Говорить со стенами — глупостью. Стены ничего не отвечали. Они держали полки, пропускали сырость и иногда трескались, если зимой я сэкономила на дровах. В этом была вся их магия.

Я проверила запасы: чернокорня осталось на два дня, дри-мницы — на один сильный сон, серебряной соли — почти пусто. Серое железо я не держала. Даже обломков. После Черного Кряжа один запах этого металла заставлял меня вспоминать обугленный лоскут в ладони.

Лоскут я сохранила.

Он лежал не в лавке, а в комнате наверху, под половицей у кровати. Пять лет. Маленький кусок ткани, завернутый в промасленную кожу. Первый след, который ни к чему не привел.

Я искала.

Сначала отчаянно. Потом осторожно. Потом почти без надежды, потому что надежда, как и лихорадка, если не сбить ее вовремя, сжигает изнутри. Я спрашивала у перевозчиков про закрытые ящики с холодной смолой. У торговцев — про серое железо. У пьяных стражников — про детей, которых везли без имен. Два раза меня били. Один раз пытались сдать людям Драугаров за награду. Трижды я находила следы, которые обрывались у воды, у сгоревшего склада, у могилы без имени.

Тивена нигде не было.

А потом жизнь, подлая и упрямая, стала требовать своего: плату за дом, дрова, еду, лекарства, сон. Я не перестала помнить. Просто научилась работать с памятью так же, как с болью: не давать ей управлять рукой, когда держишь иглу.

Снаружи что-то скрипнуло.

Я замерла.

Не шаги. Не телега. Дерево у двери, мокрое от дождя, могло скрипеть само. Нижняя улица вечером полна звуков: ветер, капли с крыши, мыши в дровянике, пьяный возчик, который ищет не тот дом.

Я взяла лампу и подошла к окну.

За стеклом была темная улица. Желтый свет из кузницы. Красная полоса под дверью Рутиной кухни. Дождь, мелкий и косой. На крыльце никого.

Я уже собиралась отойти, когда увидела след.

На нижней ступеньке, там, где обычно грязь растиралась взрослыми сапогами, отпечаталась босая детская ступня.

Маленькая.

Узкая.

Пальцы сжаты, будто ребенок ступал на холод и пытался сделать боль меньше.

Я поставила лампу на подоконник и открыла дверь.

Сырой воздух сразу ударил в лицо. Дождь пах рекой, дымом и конским навозом. Я опустилась на корточки у ступени.

След был свежий. Вода еще не успела смыть края.

Один отпечаток на ступеньке. Второй ниже, в грязи. Третий у стены, рядом с бочкой для дождевой воды.

Ребенок стоял здесь.

Не просто прошел мимо. Стоял у двери моей лавки и не постучал.

Я подняла голову и посмотрела вдоль улицы.

— Эй?

Тишина.

Из кухни Руты донесся смех. Где-то хлопнула ставня. На другом конце улицы залаяла собака, потом сразу замолчала.

Я взяла лампу и вышла на крыльцо.

Следы шли не от дороги. Они вели из переулка между моей лавкой и пустым складом свечника, который умер прошлой зимой и оставил после себя запах прогорклого воска. Переулок был узким, заваленным ящиками, с нависающей крышей. Там даже днем было темно.

Я спустилась на одну ступень.

Пороговая печать под доской у двери оставалась теплой. Не горела. Не тревожилась. Значит, тот, кто подходил, не нес оружия и не собирался ломиться внутрь.

Или был слишком слаб, чтобы защита сочла его угрозой.

— Рута! — крикнула я, не сводя глаз с переулка.

Через стену послышался грохот. Потом дверь кухни распахнулась.

— Что у тебя опять? — Рута появилась с полотенцем в руках и мукой на щеке. — Если Фаррик вернулся жаловаться, скажи ему, что у меня есть скалка и настроение.

— Ребенок ходил у двери.

Она сразу перестала шутить.

— Где?

Я показала на следы.

Рута подошла ближе, вытерла руки о фартук и присела рядом. Ее широкое лицо стало жестким.

— Босой?

— Да.

— В такую погоду?

— След свежий.

Рута выпрямилась и посмотрела в переулок.

— Я позову Остана.

— Не надо пока.

— Найра.

— Если там ребенок, толпа его напугает.

Она сжала губы. Потом коротко кивнула.

— Я стою здесь.

Я хотела возразить, но не стала. Рута умела стоять так, что за ее спиной даже пьяные драчуны вспоминали о матерях и законе.

Я взяла из кармана маленькую медную пластину, провела ногтем по краю. Не оружие. Просто печать света. Она нагрелась в ладони, и на ее поверхности выступило тусклое оранжевое сияние.

Переулок открылся на несколько шагов.

Мокрые ящики. Обломки досок. Черная вода в выбоине. Кусок рваной ткани на гвозде.

И еще один след.

Я вошла глубже.

— Я не причиню вреда, — сказала тихо. — Если ты здесь, можешь выйти. Тебя никто не отдаст, пока я не пойму, что случилось.

Рута за моей спиной не произнесла ни слова.

В дальнем углу что-то шевельнулось.

Очень слабо.

Я подняла пластину выше.

Между ящиками сидел мальчик.

Сначала я увидела колени, острые, грязные, подтянутые к груди. Потом руки, тонкие, в ссадинах, с пальцами, вцепившимися в мокрую ткань рубахи. Потом лицо.

Он был худым до неправильности.

Не просто голодным. Высушенным долгой дорогой, страхом и болезнью. Темные волосы прилипли ко лбу. Глаза казались слишком большими на лице, где детская мягкость уже почти стерлась. На губе запеклась кровь.

На шее был след.

Не веревка. Не ошейник полностью. След от железа: темная полоса с красными краями, уходящая под ворот.

Я присела, не приближаясь.

Мальчик не дышал громко. Это было хуже. Дети после бега обычно хватали воздух ртом. Он берег даже дыхание.

— Меня зовут Найра, — сказала я. — Я целительница. Это моя лавка.

Он смотрел на пластину в моей руке.

Я медленно положила ее на землю между нами. Свет стал ниже, мягче.

— Хочешь хлеба?

Никакого ответа.

— Воды?

Его пальцы чуть сильнее сжали рубаху.

Я заметила, что левой рукой он держит что-то у груди. Маленький темный обломок. Камень? Дерево? Нет. Поверх-

ность слишком ровная, с тусклым блеском по краю.

Чешуя.

У меня похолодела спина.

Драконья чешуя бывает разной. У молодых — тонкая, с живым цветом. У взрослых — плотная, с глубоким отливом. У родов с сильным огнем она иногда сохраняет тепло неделями после того, как отпадает.

Эта была черная, с янтарной прожилкой.

Я знала такой цвет.

Пять лет назад он светился в чаше у детской колыбели.

Мальчик вдруг дернулся. Не ко мне — в сторону, к выходу из переулка. Там, за Рутой и крыльцом, по улице проехала телега. Скрип колеса стал похож на стон железа.

Он попытался встать.

Ноги не удержали.

Я успела податься вперед, но не коснулась. Он отшатнулся так резко, что ударился плечом о ящик.

— Тихо, — сказала я. — Я не трону без разрешения.

Он застыл.

Рута сзади тихо выругалась. Очень тихо, почти беззвучно.

Я сняла с плеча шаль. Положила на землю, ближе к нему, но не вплотную.

— Возьми. Холодно.

Мальчик смотрел на шаль долго. Потом, не выпуская чешую, вытянул другую руку. Пальцы дрожали. Он схватил край ткани и резко притянул к себе, будто боялся, что я пе-

редумаю.

— Хорошо, — сказала я. — Очень хорошо.

Он завернулся неловко, одной рукой. Под воротом рубахи снова мелькнула темная полоса на шее.

И ниже.

На груди.

Я увидела край знака.

Не весь. Только часть: изломанная линия, похожая на крыло, и маленькая точка в центре, где у прямых наследников Драугаров горела первая искра родового огня.

Нет.

Память иногда обманывает. Особенно память, которую пять лет держишь за горло, чтобы не завывала.

Я медленно вдохнула.

— Рута, — сказала я, не оборачиваясь. — Принеси теплую воду. Мед. И чистую рубаху. Маленькую.

— Сейчас.

Ее шаги удалились быстро.

Мальчик снова напрягся.

— Она принесет воду, — объяснила я. — Не людей.

Он смотрел на меня снизу вверх.

И вдруг шепнул:

— Не серых.

Голос был хриплый, сорванный, как сухая нитка.

Я не пошевелилась.

— Не серых, — повторила я. — Обещаю.

Он качнулся.

На этот раз я все же протянула руки.

— Можно?

Он не ответил. Но и не отшатнулся.

Я коснулась его плеча через шаль. Тело было ледяным снаружи и горячим внутри — неправильный жар, спрятанный глубоко, у самой груди. Мальчик был легче, чем должен был. Слишком легкий для шести лет. Или семи. Я подняла его осторожно, и он зажал обломок чешуи между нами так крепко, что острый край впился ему в ладонь.

— Не забираю, — сказала я. — Держи.

Он закрыл глаза.

Не потерял сознание. Просто больше не мог смотреть.

Я вынесла его из переулка.

Рута стояла у двери с лампой, и лицо у нее было такое, каким оно становилось только рядом с детьми, которых взрослые успели сломать раньше болезни.

— Внутрь, — сказала она.

Я поднялась на крыльцо.

Пороговая печать под доской стала горячей.

Не от угрозы.

От узнавания крови.

Я едва не остановилась, но мальчик в моих руках вздрогнул и тихо, почти беззвучно, заскулил от холода.

Я переступила порог.

В лавке огонь в жаровне вспыхнул сам от притока воздуха

из открытой двери — обычное дело, если ветер попадает под правильным углом. Только пламя на миг стало темно-янтарным по краям.

Как в Черном Кряже.

Я положила мальчика на стол, где утром лечила Рида, и начала разрезать мокрую рубаху.

— Рута, воду сюда. Дверь закрой. Верхний засов оставь.

— Почему?

Я не ответила сразу.

Ткань разошлась под ножницами.

На груди мальчика, под грязью, ссадинами и следами старых ожогов, была родовая метка.

Черное крыло. Янтарная точка в центре. Три тонких луча к ребрам.

Метка прямого наследника Драугаров.

Рута увидела и медленно поставила чашу на край стола.

— Найра...

Я смотрела на знак, пока старый пепел в памяти поднимался так густо, что стало трудно дышать.

Пять лет назад за этого ребенка меня изгнали.

Пять лет назад его объявили мертвым.

Пять лет назад Эррен Драугар посмотрел на меня в детской и выбрал ложь, потому что она дала его горю имя.

Мальчик на столе открыл глаза.

Серо-янтарные. Мутные от жара. Невозможные.

— Тивен, — сказала я.

Он вздрогнул так, будто имя ударило его.

А потом прошептал:

— Не отдавай.

Глава 2. Мальчик под прилавком

Тивен сказал это так, будто не просил.

Проверял.

Осталось ли в мире хоть одно взрослое слово, которое не обманет.

Я стояла над ним с ножницами в руке, мокрая рубаха расползалась под лезвием, а на столе рядом темнела маленькая лужица грязной воды. Рута за моей спиной не двигалась. Даже дышать стала тише, хотя обычно умела шуметь одним присутствием.

— Не отдавай, — повторил мальчик.

Голос был хриплый, почти без детского звука. Так говорят после долгого крика или после долгого молчания. Иногда после второго бывает хуже.

Я отложила ножницы.

— Не отдам, пока не пойму, кому и зачем тебя хотят забрать.

Он моргнул.

Ответ ему не понравился. Дети, которых ломали взрослые, не любили честные оговорки. Им нужны были клятвы. Простые, крепкие, навсегда. Только я знала цену словам, сказанным слишком быстро.

Поэтому добавила:

— И серым не отдам.

Его пальцы разжались на мгновение. Обломок черной чешуи остался зажатым в ладони, но уже не резал кожу так глубоко.

Рута поставила на стол чашу с теплой водой.

— Что надо?

— Закрой заднюю дверь. Нижний засов, крючок и медную скобу. Потом принеси детскую рубаху Ярса, если он еще не успел вырасти из нее окончательно.

— Он из всего вырос, кроме дурной головы.

— Значит, рубаха подойдет.

Рута ушла без лишних вопросов. За это я ценила ее больше, чем за похлебку, слухи и способность одним взглядом заставить пьяного возчика вспомнить, где его сапоги. В плохие минуты рядом нужен человек, который сначала делает нужное, а потом уже спрашивает.

Я смочила чистую тряпку в воде и показала мальчику.

— Я уберу грязь. Будет неприятно. Больно — скажешь.

Он смотрел на тряпку, как на нож.

— Скажешь, — повторила я. — Не надо терпеть молча.

Его губы дрогнули. Не улыбка. Что-то меньше. Горькая привычка не верить.

Я начала с лица.

Грязь сходила слоями. Под ней кожа оказалась бледной, почти прозрачной от истощения. У виска темнел синяк. На скуле старая царапина уже затянулась тонкой коркой. Нижняя губа была разбита, но не сильно. Плохо было другое: жар

под кожей шел неровно, волнами. Не обычная горячка. Родовой огонь, загнанный внутрь, как зверь в тесную клетку.

Тивен не плакал.

Только иногда задерживал дыхание.

Когда я коснулась шеи, он дернулся всем телом.

— Не там.

Я остановилась.

— Хорошо. Не там.

Он смотрел на меня недоверчиво, будто ждал, что я все равно продолжу. Я убрала руку и занялась плечом. Мокрая ткань липла к ребрам. Ребра выступали слишком резко. На коже виднелись следы от ремней, старые ожоги и свежие царапины. Некоторые раны были от бегства: ветки, камень, падение. Другие — нет.

Другие оставляли люди, которые не спешили.

Внутри у меня стало тихо и холодно.

Такое состояние я знала. Оно приходило, когда злость уже не мешала рукам. Когда можно было резать ткань, считать дыхание, проверять пульс и не думать о том, как именно взрослый человек держал ребенка, чтобы на шее осталась такая полоса.

— Пить будешь? — спросила я.

Тивен не ответил.

Я взяла деревянную ложку, зачерпнула воду с медом и поднесла к его губам. Не влила. Просто подождала.

Он смотрел на ложку.

Потом на меня.

Потом снова на ложку.

Наконец приоткрыл рот.

Первый глоток дался ему трудно. Второй легче. На третьем он закашлялся, и в груди у него хрипнуло так, что я сразу положила ладонь ему на спину, не подумав.

Он вздрогнул.

Я отняла руку.

— Извини.

Странное слово для целительницы. Больные обычно не ждут извинений за помощь. Но этот мальчик ждал удара от каждого движения, и если я хотела, чтобы он остался жив до утра, мне нужно было заново научить его простым вещам: рука может поддержать, дверь может закрыться для защиты, взрослый может спросить.

Сложнее всего люди верят как раз в простое.

Рута вернулась с рубахой, шерстяным одеялом и лицом, по которому было понятно: она уже успела посмотреть на улицу, оценить дождь, пустой переулок и собственные шансы раскроить кому-нибудь голову сковородой.

— Задняя закрыта, — сказала она. — Ярс ворчит, что ему холодно без рубахи.

— Дай ему мою старую шаль.

— Ту, зеленую?

— Ту, которая с дырой.

— Значит, зеленую.

Рута положила вещи на край стола и посмотрела на мальчика. Не жалостливо. Жалость дети считают быстро и ненавидят почти так же сильно, как угрозы. Рута смотрела сердито. На мир, не на него.

— Есть хочешь? — спросила она.

Тивен чуть втянул голову в плечи.

— Рута, — тихо сказала я.

— Что? Я не собираюсь его есть. Я спрашиваю, ест ли он.

— Мягче.

Она фыркнула, но голос понизила.

— У меня есть похлебка. Теплая. Не кислая. И хлеб, который не успел украсть Остан. Хочешь?

Мальчик едва заметно кивнул.

— Вот и договорились, — сказала Рута. — Найра тебя чинит, я кормлю. Если кто придет забрать, сначала пройдет мимо меня.

Он посмотрел на нее так, будто не понял последней фразы.

Я поняла.

И на миг почти пожалела тех, кто попробует пройти.

Когда Рута ушла за едой, я снова взялась за шейный след.

— Мне надо посмотреть, — сказала я. — Только посмотреть. Не трогать, если не позволишь.

Тивен закрыл глаза.

Это не было согласием. Но и отказом не было. Иногда в лечении приходится идти по самому тонкому краю.

Я осторожно отогнула ворот.

След от ошейника оказался глубоким. Кожа вокруг воспалена, местами стерта до сырого красного мяса. По краю шла темная линия, не грязь и не кровь. След металла. Того самого, который подавлял огонь и заставлял память путаться, как нитки в старой корзине.

Серое железо.

Я знала его запах.

Пять лет назад такой же запах держался на обугленном лоскуте из колыбели.

Пять лет я хранила этот лоскут под половицей и думала, что однажды он станет уликой. Потом перестала думать каждый день. Потом научилась делать вид, что живу не вокруг этой маленькой черной тряпки.

А теперь передо мной лежал ребенок с таким же холодным металлическим следом на шее.

— Кто надел это? — спросила я.

Тивен не открыл глаз.

— Серые.

— Люди в сером?

Он молчал.

— Мужчины? Женщины?

Пауза.

— Все.

Одно слово, но в нем было больше ответа, чем хотелось услышать.

Я взяла маленькую банку с мазью от металла. Дорогую. Почти пустую. В Медном Броде она нужна была редко, потому что серое железо здесь не покупали открыто: слишком много старых запретов, слишком много дурных историй. Но возчики привозили разное. Я держала банку на случай, если кто-нибудь опять решит, что закон существует только для тех, кто не может заплатить за его нарушение.

— Будет щипать, — предупредила я.

Он стиснул зубы.

— Можно?

Очень медленно он кивнул.

Я нанесла мазь кончиком деревянной палочки, не пальцами. Тивен выгнулся от боли, но не вскрикнул. Рута вошла как раз в этот момент с миской и застыла на пороге.

— Найра.

— Все под контролем.

Это была не совсем правда, но достаточная для комнаты, где ребенок и так едва держался.

Мазь впиталась быстро. Слишком быстро. Значит, металл сидел глубже, чем кожа. Ошейник не просто держал его. Он работал. Подавлял огонь. Рвал память. Возможно, боль тоже делал послушной, чтобы ребенок не мог сопротивляться.

Я положила палочку в отдельную чашку для грязного инструмента.

— Тивен, посмотри на меня.

Он открыл глаза.

В них был мутный жар. И янтарь.

Не яркий, как у Эррена. У Эррена огонь смотрел прямо, тяжело, как пламя за темным стеклом. У мальчика он был слабым, рассыпанным по радужке мелкими искрами. Но я помнила эти глаза.

Младенец у колыбели смотрел так же, когда еще не умел фокусировать взгляд и все равно почему-то успокаивался, если я говорила рядом с ним низко и ровно.

— Ты помнишь меня? — спросила я.

Слишком рано. Не надо было. Вопрос вырвался сам.

Тивен нахмурился. Боль сменилась усилием. Он пытался достать что-то изнутри себя, из места, где серое железо годами перемешивало память с тьмой.

— Жар, — прошептал он.

— Что?

— Руки... теплые.

Я не сразу смогла ответить.

Рута отвернулась к полке с чашками и слишком громко поставила миску.

— Похлебка остывает, — сказала она хрипло.

Я сглотнула.

— Да. Мои руки были теплыми.

Тивен смотрел на меня еще несколько мгновений. Потом лицо его смялось от усталости. Он не заплакал. Просто отвернулся, будто воспоминание оказалось слишком тяжелым.

Я помогла ему сесть. Рута подала похлебку: жидкую, без

крупных кусков, с размоченным хлебом. Тивен взял ложку правой рукой, но пальцы дрожали так сильно, что половина пролилась на одеяло. Он испуганно замер.

Не из-за еды.

Из-за ожидания наказания.

Я взяла тряпку и вытерла одеяло.

— Ничего.

Он не верил.

— Ничего, — повторила я. — Можешь пролить всю миску. У Руты большая кастрюля и плохой характер, она переживет.

— Я не переживу, если ты будешь обещать мою похлебку направо и налево, — буркнула Рута.

Тивен посмотрел на нее.

Рута грозно нахмурилась.

— Ешь.

Он съел четыре ложки. Потом еще две. Потом рука опустилась, глаза начали закрываться.

— Хватит, — сказала я. — Остальное позже.

Когда я потянулась забрать миску, он схватил ее обеими руками.

— Не надо.

— Я не забираю еду. Поставлю рядом.

Он не отпустил.

Рута хотела что-то сказать, но я покачала головой.

Я принесла маленькую деревянную полку, поставила ее

возле стола и переложила туда миску, хлеб и кружку с водой.

— Видишь? Все рядом. Твое.

Слово “твое” он понял. Его плечи чуть опустились.

Я помогла ему лечь. Он позволил накрыть себя одеялом, но, когда я попыталась убрать обломок чешуи из его ладони, пальцы снова сомкнулись мертвой хваткой.

— Оставляю, — сказала я. — Держи.

Он втянул руку под одеяло.

Только тогда я разглядела чешую внимательнее. Черная, с янтарной прожилкой. По форме не детская. Не выпавшая сама. Край был неровный, как будто ее вырвали или срезали в спешке.

Чешуя взрослого дракона.

Драугара.

У меня перед глазами на миг встал Эррен в дверях детской: серое лицо, янтарный взгляд, рука на обугленной колыбели. Тогда я думала, что этот образ будет болеть всегда одинаково. Оказалось, боль умеет стареть. Она становится тише, глубже и опаснее, потому что перестаешь ждать, где она ударит.

— Его отец узнает, — сказала Рута негромко.

Мы стояли у прилавка, пока Тивен дремал на столе под одеялом. Я держала в руках грязные ножницы и почему-то не могла заставить себя положить их в чашку.

— Если уже не знает.

— Ты думаешь, люди, которые его держали, сообщили

Эррену?

— Я думаю, люди, которые пять лет прятали ребенка от драконьего рода, не стали бы выпускать его одного под дождь просто так.

Рута скрестила руки на груди.

— Может, сбежал.

— Может.

— Может, их стало меньше. Может, кто-то помог.

— Может.

— Ты говоришь “может” таким голосом, что мне хочется спрятать ножи.

Я наконец положила ножницы.

— Спрячь лучше Ярса. Если ночью начнется шум, он полезет смотреть.

— Уже спрятала. Сидит у печи, чистит лук одной рукой и строит из себя мученика.

— Хорошо.

Рута посмотрела на мальчика.

— Это правда он?

Вопрос висел между нами с той самой минуты, как я увидела метку.

Я подошла к столу, осторожно отодвинула край одеяла у груди Тивена и показала Руте знак полностью. Черное крыло. Янтарная точка. Три луча.

Она не знала драконьих родовых меток так, как знала я. Но даже человек с нижней улицы слышал о главных знаках

Черного Кряжа.

Рута тихо выругалась.

— Значит, тот ребенок не погиб.

— Нет.

— И тебя выгнали за живого ребенка.

— Меня выгнали за ложь, которую было удобно считать правдой.

— Найра...

— Не надо.

Она замолчала.

Я поправила одеяло на мальчике.

— Сейчас важно другое. У него жар, следы серого железа, поврежденный огонь и, возможно, провалы памяти. Если за ним придут те, кто его держал, они не станут долго разговаривать.

— Зови городскую стражу.

Я посмотрела на нее.

Рута поморщилась.

— Да, сама слышу, как глупо сказала.

Городская стража в Медном Броде состояла из людей, которые хорошо умели разгонять пьяные драки и плохо — спорить с теми, кто приезжал на дорогих конях с печатями сильных домов. Если к моей двери придут люди Черного Кряжа, стража сначала снимет шапки, потом спросит, чем помочь.

— Остана надо найти, — сказала Рута.

— Позже. Не сейчас. Лишние шаги привлекут внимание.

— А если внимание уже здесь?

Ответить я не успела.

Тивен резко сел.

Не проснулся постепенно. Не открыл глаза сонно. Он взлетел на локтях, будто его дернули за невидимую цепь, и с ужасом посмотрел на дверь.

— Тише, — я шагнула к нему. — Ты в лавке.

Он не слышал.

Вцепился в одеяло, оглядел стол, полки, окно, Руту, меня. Понял, что лежит высоко, на открытом месте, и соскользнул со стола так быстро, что я едва успела подхватить его под плечо.

— Не держи! — Он сорвался на тонкий, рваный крик. — Не держи!

Я отпустила сразу.

Он упал на колени, ударился, но боли будто не заметил. Метнулся под прилавок, в самую темную нишу, где я держала пустые ящики и мешок с чистой ветошью.

Рута шагнула вперед.

Я остановила ее рукой.

Под прилавком зашуршало. Потом стало тихо.

— Тивен, — сказала я.

В ответ только дыхание. Частое, мелкое.

Я опустилась на пол перед прилавком. Холодные доски неприятно ударили в колени.

— Никто тебя не вытаскивает.

Он молчал.

— Слышишь? Никто. Хочешь быть там — будь там.

Рута смотрела на меня так, будто я спятила.

Но я видела слишком много детей после боли, чтобы перепутать упрямство и попытку найти место, где спина закрыта хотя бы с двух сторон. Стол был для лечения. Прилавков — для выживания.

Я вытащила из-под прилавка два пустых ящика, оставив ему больше места, и придвинула ближе одеяло. Не вплотную. Рядом.

— Вот. Тепло будет, если возьмешь.

Через несколько мгновений из темноты показалась рука. Тонкая, грязная, со ссадинами на костяшках. Пальцы схватили одеяло и втянули внутрь.

— Еду тоже? — спросила я.

Тишина.

Я поставила миску на пол.

— Рядом.

Рука забрала хлеб, не миску.

Рута медленно выдохнула.

— Я пойду к себе, — сказала она. — Но дверь между кухней и твоим задним двором оставляю открытой. Крикнешь — прибегу.

— Возьми тяжелую сковороду.

— Я уже взяла.

Конечно, взяла.

Она ушла через заднюю комнату, а я осталась на полу у прилавка.

В лавке было тихо. Жаровня потрескивала, дождь бил по ставням, где-то наверху скреблась мышь. Под прилавком ребенок грыз хлеб маленькими осторожными кусками, как зверек, который все еще не верит, что пищу не отнимут.

Я не знала, сколько прошло времени. Может, четверть часа. Может, больше.

Потом из темноты раздалось:

— Ты была там.

Я не сразу поняла.

— Где?

— В комнате.

Сердце ударило больно, но голос я удержала ровным.

— В детской?

Молчание.

— Да, — сказала я. — Я пришла, когда тебя уже не было.

— Пахло гарью.

— Да.

— Ты кричала.

Я закрыла глаза.

Я не помнила, что кричала. Помнила, как говорила “проверьте карниз”, как стражник держал мой локоть, как за окном был слабый скрежет. Но, наверное, я кричала. Человек редко помнит свой голос в ночи, когда у него отнимают право быть услышанным.

— Кричала, — признала я.
— Серый сказал, ты плохая.
— Серые много лгали.
— Все взрослые лгут.
— Нет.

Ответ вышел слишком быстрым.

Он затих под прилавком.

Я поправила рукав, на котором засохла вода с его волос.

— Не все, — сказала я уже спокойнее. — Но слишком многие.

— Он тоже?

Я знала, кого он имеет в виду. Не спросила “кто”. Не стала делать вид, что не понимаю.

— Твой отец?

Под прилавком стало тихо до звона.

— Я не знаю, что он тебе говорил, — сказала я. — Но пять лет назад он думал, что ты погиб.

— Не пришел.

Два слова.

Таких тяжелых, что никакая взрослая вина не могла бы поднять их без надрыва.

Я не стала защищать Эррена.

Не имела права.

— Не пришел, — повторила я.

Тивен долго молчал.

Потом спросил:

— Придет теперь?

Я посмотрела на дверь.

На верхний засов, который все еще был не опущен. На медную пластину у порога. На тонкую линию защитной печати, вырезанную под темным деревом.

— Да, — сказала я. — Думаю, придет.

— Ты отдашь?

— Нет.

Это слово он заслужил без оговорок.

Под прилавком снова слышалось дыхание. Уже не такое рваное.

— А если он дракон?

— Тогда ему придется научиться стучать.

Я услышала слабый звук. Почти не смех. Скорее выдох, который на мгновение забыл быть страхом.

И тут в дверь ударили.

Не постучали.

Ударили кулаком так, что колокольчик над входом дернулся и жалобно звякнул.

Тивен под прилавком мгновенно перестал дышать.

Я поднялась медленно. Не бросилась к двери, не схватила нож, не крикнула Руту. Сначала взяла с полки медную пластину и положила ее на прилавок, прямо над защитной линией. Потом поставила рядом лампу, чтобы свет падал мне на лицо, а тому, кто снаружи, мешал видеть глубину лавки.

Второй удар был сильнее.

— Открывай, целительница.

Мужской голос. Низкий. Чужой.

Я подошла к двери, но остановилась в шаге от порога.

— Больных ночью не пугают. Кто вы?

За дверью кто-то тихо рассмеялся.

— Те, кто забирает свое.

Под прилавком Тивен беззвучно всхлипнул.

Я положила ладонь на стену у двери, туда, где под штукатуркой проходила медная нить печати. Не просила ее помочь. Не ждала ответа. Просто замкнула круг теплом собственной руки.

— В моей лавке нет вашего.

— Есть мальчишка. Больной. Опасный. Сбежал от при-
смotra.

— Имя?

Пауза.

Снаружи дождь шумел по крыше, и на этом шуме хорошо было слышно, как второй человек переступил с ноги на ногу. Металл звякнул под плащом.

— Он не отзывается на имя, — сказал первый.

— У каждого ребенка есть имя.

— Не у каждого.

У меня внутри все стало на место.

Серые.

— Тогда забирайте своих безымянных в другом месте, — сказала я. — Здесь такого нет.

В щель под дверью скользнула тонкая полоска металла.
Серое железо.

Пороговая печать вспыхнула без света, жаром. Металл на полу зашипел, как мокрая кочерга в углях. За дверью кто-то выругался. Я прижала ладонь к медной нити сильнее. Кожа обожглась, но круг удержался.

— Не советую, — сказала я. — Лечебное место не любит железо у порога.

— Ты не понимаешь, во что лезешь.

— Зато вы, похоже, понимаете. Поэтому пришли ночью.
Снаружи стало тихо.

Потом первый голос произнес уже иначе. Без насмешки.

— Найра Тарн.

Имя ударило хуже кулака.

Под прилавком ребенок зажал рот ладонью, но я услышала.

Я не отступила от двери.

— Раз знаете имя, должны знать и другое. Я плохо отдаю больных тем, кто не умеет представляться.

— Ты была умной женщиной, когда ушла из Черного Края.

Я почувствовала, как ожог на ладони стал глубже.

— А вы были глупым человеком, если решили напомнить мне об этом у моей двери.

За стеной, со стороны Рутиной кухни, раздался короткий стук. Один раз. Она была рядом. Со сковородой, без сомне-

ний.

Снаружи мужчина помолчал.

— До рассвета, целительница. Потом за мальчишкой придут не серые.

— Пусть сначала научатся просить.

— Драконы не просят.

Я посмотрела на прилавок, под которым прятался ребенок с меткой мертвого наследника.

— Здесь научатся.

Металл под дверью резко выдернули. Шаги отступили. Двое. Нет, трое. Третий стоял дальше, у стены, почти не двигаясь. Я слышала, как они ушли в переулок, где нашла следы Тивена, и растворились в дожде.

Только тогда я сняла руку с печати.

На ладони осталась красная линия ожога.

Под прилавком было тихо.

Я опустила на пол.

— Они ушли.

Тивен не ответил.

— Тивен?

Из темноты медленно показалась его рука. В кулаке он держал черную чешую. Так крепко, что по пальцам снова текла кровь.

— Не отдавай, — сказал он в третий раз.

Я взяла чистую тряпку и села рядом, не пытаясь вытащить его наружу.

— Не отдам.

На этот раз без “пока”. Без осторожной правды и взрослых оговорок.

За дверью дождь смывал чужие следы с крыльца.

А я уже знала: к рассвету Медный Брод перестанет быть достаточно далеко от Черного Кряжа.

Глава 3. Метка мертвого наследника

После ухода серых дождь не стал тише.

Он бил по крыше, стекал по ставням, собирался в щелях крыльца и темной водой полз к нижней ступеньке, где еще недавно стояли чужие сапоги. Следы мужчин размывало быстро. Медный Брод умел прятать грязь под новой грязью. К утру никто бы уже не сказал, сколько их было у моей двери: двое, трое или целая стая, которая просто ждала дальше в переулке.

Я не открывала дверь.

Стояла у порога, пока ожог на ладони перестал пульсировать так резко, и слушала улицу. Не потому, что надеялась услышать шаги. Наоборот. Мне нужно было убедиться, что тишина не притворяется.

Под прилавком Тивен дышал почти беззвучно.

После моего обещания он не вышел. Я и не звала. Если ребенок выбрал темное место за ящиками как единственное, где ему можно не ждать удара в спину, вытаскивать его оттуда значило бы стать такой же взрослой, как те, от кого он бежал.

Рута стояла у задней двери со сковородой в руке.

Старая чугунная сковорода была тяжелее моего дорожно-

го котла и, судя по выражению Руты, готова стать главным законом Медного Брода.

— Ушли? — спросила она.

— До рассвета.

— Это они так сказали?

— Да.

— Значит, вернутся раньше. Люди, которые называют себя страшными, редко умеют ждать до красивого часа.

Я посмотрела на полосу серого железа, оставленную у порога. Ее они выдернули, но на дереве все равно остался темный след. Печать под доской взяла удар на себя, но медная нить в стене нагрелась до красноты. Если бы серые держали металл чуть дольше, круг мог лопнуть. Не сразу, не весь, но достаточно, чтобы впустить чужую волю внутрь.

— Воды, соли, медной стружки и чистый нож, — сказала я.

Рута кивнула.

— А мальчишка?

Я опустила на корточки перед прилавком.

— Тивен.

В темноте ничего не шевельнулось.

— Я буду чинить порог. Это шумно. Тебя не тронут.

Молчание.

— Если захочешь выйти, я рядом. Если нет — оставайся там.

Из-под прилавка донесся едва слышный шорох. Кусок

хлеба в детских руках, одеяло по доскам, осторожное дыхание.

— Они вернутся? — спросил он.

— Да.

Я могла сказать “не знаю”. Могла соврать для мягкости. Но этот ребенок уже жил среди людей, которые смазывали ложь медом и называли ее заботой.

— Серые?

— Скорее всего.

— С большим?

— С кем-то сильнее.

Он втянул воздух.

— С драконом?

Я не ответила сразу.

За пять лет я много раз представляла себе встречу с Эрреном Драугаром. В глупые ночи, когда усталость становилась слабостью, я придумывала, что скажу ему, если он появится на пороге. В злые — как закрою дверь. В честные — как не смогу сразу ни говорить, ни закрыть.

Ни в одном из этих вариантов у меня под прилавком не прятался его сын.

— Возможно, — сказала я. — Но дракон тоже не пройдет через мой порог с приказом.

Тивен молчал долго.

Потом спросил:

— А если ломает?

Я посмотрела на дверь. Дерево старое, два засова, медная нить, соль под порогом, моя кровь в главном круге. Не крепость. Не стена Черного Кряжа. Просто лавка на нижней улице.

— Тогда я буду чинить, пока он ломает, — сказала я.

Рута вернулась с миской соли и мотком тонкой медной проволоки.

— Хороший план, — буркнула она. — Очень вдохновляет умереть с инструментом в руке.

— Я не планирую умирать.

— Люди обычно не планируют, просто плохо закрывают дверь.

Я взяла у нее соль.

Работа с порогом требовала точности, а не красоты. Сначала я сняла верхнюю доску, где чужое железо оставило ожог. Под доской лежала медная нить, потемневшая на изгибе. Я аккуратно срезала поврежденный участок, наложила новую проволоку, связала ее тремя узлами вокруг гвоздя, вбитого еще в первый год после покупки лавки. Потом смешала соль с золой из жаровни и каплей собственной крови. Не для жертвы и не для величия. Кровь была самым простым способом сказать печати, кто отвечает за это место.

Ладонь жгло.

Я провела смесью по стыку досок, и на мгновение воздух у порога стал плотным, как перед грозой. Лампа дрогнула. Не заговорила, не подала знак, не выбрала сторону. Просто

огонь реагировал на изменение воздуха и силы, как любая вещь реагирует на жар, холод или сквозняк.

— Готово? — спросила Рута.

— Нет. Но пока выдержит.

— Ты тоже?

Я усмехнулась без веселья.

— Пока выдержу.

Под прилавком Тивен тихо кашлянул.

Слабый звук сразу снял с меня остатки злости. Я поставила нож и соль на стол, вымыла руки в холодной воде и вернулась к нему.

— Мне надо посмотреть метку, — сказала я.

Он не ответил.

— Не сейчас, если не можешь. Но до рассвета мне нужно понять, что с твоим огнем. Если придет твой отец...

Тивен ударился плечом о ящик так резко, что тот стукнул по дереву.

— Не отец.

Рута замерла у печи.

Я села на пол, чтобы не нависать над прилавком.

— Хорошо. Не отец.

— Не говори.

— Не буду.

Он дышал часто, неровно. Слово “отец” оказалось для него не родством, а дверью, за которой стоял страх. Не тот страх, что у ребенка перед строгим взрослым. Другой. Глуб-

же. Как будто за этим словом начиналась дорога назад.

— Тогда так, — сказала я. — Если придет дракон из Черного Кряжа, мне нужно знать, сможет ли твой огонь выдержать его близость.

Тивен молчал.

— Драконья кровь отзывается на кровь, особенно у прямых родов. Если твоя метка повреждена, чужой сильный огонь может сделать большее. Я должна это проверить.

Из темноты показалась рука. Он не вышел, но отодвинул край одеяла у груди.

Согласие.

Я взяла лампу и поставила ее на пол. Свет лег под прилавков узкой полосой. Тивен сидел спиной к стенке, колени подтянуты, чешуя зажата в левой руке. Правая держала рубаху у ворота.

Я не полезла к нему. Просто протянула медную пластину.

— Держи сам. Положи на метку. Если станет горячо — убери.

Он смотрел на пластину с подозрением.

— Это не железо.

— Медь. Она показывает движение огня, но не держит его.

— Серые тоже говорили.

— Что?

— “Не больно”.

Горло сжалось.

— Я не скажу так. Может быть больно.

Он взял пластину.

Пальцы у него были слишком тонкие, ногти сломаны, на костяшках запеклась кровь. Он прижал медь к груди, туда, где под рубахой темнела родовая метка.

Сначала ничего не произошло.

Потом пластина покрылась туманным налетом. Янтарная точка в центре знака вспыхнула под тканью. Не ярко. Так, как тлеет уголек, который засыпали мокрой землей и забыли, что внутри еще есть жар.

Тивен зашипел.

— Убери.

Он отдернул пластину и бросил ее на пол. Медь была горячей. На поверхности проступил рисунок: черное крыло Драугаров, но с разрывом у основания. Один из трех лучей к ребрам был перерублен.

Не слабый огонь.

Украденный.

Я взяла пластину щипцами и положила на стол.

Рута подошла ближе.

— Что это значит?

— Его метка настоящая.

— Это мы уже поняли.

— Нет, — я смотрела на темный разрыв в рисунке. — Не просто похожая. Не подделанная, не перенесенная, не навешенная на кожу. Это родовая метка прямого наследника. Ее

нельзя нарисовать. Нельзя купить. Нельзя пришить к чужой крови.

— Значит, он точно сын Эррена.

Под прилавком дыхание Тивена опять сбилось.

Я резко взглянула на Руту.

Она сжала губы.

— Прости, мальчик. Язык у меня быстрее головы.

Тивен не ответил.

Я повернулась к нему.

— Я не буду повторять это имя.

Он медленно кивнул.

— Но мне нужно спросить другое. Тивен, у тебя забирали огонь?

Он нахмурился, будто слово было знакомым, но смысл ускользал.

— Жар?

— Да. Жар из груди. Из метки.

Он прижал кулак с чешуей к себе.

— Когда плохо слушался.

Рута отвернулась.

Я не позволила себе.

— Как?

— Камень. Белый. На столе. Руки держали. Тут... — он ткнул пальцем в грудь и тут же скривился. — Потом холодно.

— Кто держал?

Он закрыл глаза.

На лбу выступил пот.

— Серые.

— Лица помнишь?

— Нет.

— Женщина была?

Его пальцы сжались так, что чешуя снова порезала кожу.

— Перчатки.

Я медленно выдохнула.

В детской пять лет назад на подоконнике не было следов перчаток. Тогда я не подумала об этом. В комнате были мертвые, пепел, ложные улики, Эррен с пустыми глазами. Я видела только то, что успевала схватить взглядом до того, как меня вытащили.

Но если кто-то нес ребенка через окно, он должен был держать его. На раме должны были остаться следы кожи, крови, мази, чего-то живого.

Их не было.

Потому что руки были закрыты.

— Цвет? — спросила я. — Перчатки какого цвета?

Тивен дрожал уже не от холода.

— Чистые.

Не цвет.

Смысл.

Чистые руки у тех, кто делал грязное.

Я встала.

— Хватит.

— Найра, — Рута смотрела на меня тяжело.

— Хватит на сейчас. Ему надо спать.

— Он уснет после такого?

— Нет. Но пусть хотя бы лежит.

Я снова села у прилавка и протянула ему чистую тряпку.

— Рука.

Он не дал сразу. Потом вытащил кулак с чешуей. Кровь текла по пальцам, капала на доски. Я не стала забирать обломок. Обернула ткань вокруг ладони прямо поверх него, оставив так, чтобы чешуя не резала глубже.

— Это от кого? — спросила я.

Тивен посмотрел на обломок.

— Не знаю.

— Ты с ним сбежал?

Он кивнул.

— Зачем взял?

Пауза.

— Теплая.

Чешуя Драугаров сохраняла тепло только от живого родового огня. Если она грела его все эти годы или хотя бы последние дни, значит, ее держали рядом с источником силы. Возможно, с вещами Эррена. Возможно, с хранилищем Черного Кряжа. Возможно, с чем-то, что украли вместе с ребенком.

Следов стало слишком много.

И все они вели туда, откуда меня выгнали.

Рута поставила руки на бока.

— Я иду за Останом.

— Ночь.

— Именно.

— Если за тобой следят...

— За мной всегда кто-нибудь следит. Обычно потому, что хочет узнать, не вынесу ли я пирожки раньше времени. Я умею ходить.

— Рута.

— Нет, Найра. У тебя под прилавком наследник Черного Кряжа, за дверью серые, а к рассвету может приехать дракон, которого я видела один раз издалека и второй раз не хочу. Нам нужен человек у заднего двора. Остан подойдет.

Она была права.

Это раздражало больше всего.

— Не говори ему, кто мальчик.

— Я не дура.

— Скажи, что больной ребенок и опасность.

— Это я уже поняла.

Она накинула тяжелый плащ, взяла ту самую сковороду и вышла через задний ход, не хлопнув дверью. Для Руты это было почти чудо.

Я осталась одна с Тивеном.

Почти одна: за стенами был город, за городом дорога, а на дороге, возможно, уже двигалась весть, которую невозможно остановить.

— Она вернется? — спросил Тивен из-под прилавка.

— Да.

— Все так говорят.

— Рута возвращается даже тогда, когда ее не просят. Особенно тогда.

Он подумал.

— Она громкая.

— Очень.

— Серые не громкие.

— Знаю.

— Они входят, когда спишь.

Я опустила взгляд на свои руки.

— Здесь верхний засов оставлен только для больных. Но сейчас я его закрою. Если кто придет, будет стучать снаружи, пока я не решу открыть.

— А если больной?

— Рута рядом. Я услышу.

Я поднялась и опустила верхний засов.

Звук был короткий, металлический. Тивен вздрогнул, но не попросил открыть. Я поняла: закрытая дверь для него была и угрозой, и защитой. Таких вещей в его жизни, наверное, было много. Одеяло, которым можно согреться и связать. Рука, которая может удержать и ударить. Имя, которое может позвать и выдать.

Я вернулась к столу и начала готовить смесь для поврежденного огня.

Не лекарство. Скорее отсрочку. Если у Тивена действительно вырвали часть родовой силы, я не могла вернуть ее из воздуха. Я могла только успокоить края разрыва, чтобы чужой огонь, чужой страх или приближение крови не разнесли метку до сердца.

В ступку пошла сухая дримница, корень черной купены, порошок янтарной смолы и две капли моей крови. Потом я добавила теплый жир, растерла до гладкости и переложила на марлевую полоску.

— Это для метки, — сказала я. — Не сейчас. Когда позволишь.

— Зачем кровь?

Он видел. Конечно, видел. Дети после приюта видели все, что может стать угрозой.

— Чтобы мазь держалась на живом жаре. Без крови она просто пахнет плохо.

— Твоя?

— Моя.

— Не моя?

— Твоя кровь сегодня останется при тебе.

Он не сказал “хорошо”, но его плечи опустились на крошечную меру.

Снаружи, в заднем дворе, послышался условный стук: два раза, пауза, еще один. Рута. Я открыла.

Она вошла первой. За ней Остан Горр.

Если Рута выглядела так, будто собиралась бить весь мир

сковородой, Остан выглядел так, будто уже знал, куда именно ударит мир в ответ. Высокий, сухой, в мокром плаще, с седой полосой в черных волосах и лицом человека, который давно перестал удивляться неприятностям, но не перестал их считать.

На плече у него висела дорожная сумка. В руке — короткая дубинка, обмотанная кожей.

Он посмотрел на меня, на закрытые ставни, на порог, потом на прилавок.

Из-под прилавка на него смотрели два янтарно-серых глаза.

Остан не спросил, чей ребенок.

Умный человек.

— Сколько? — спросил он.

— Серых? У двери было трое. Возможно, больше дальше по улице.

— Вернутся?

— Сказали, до рассвета.

Он кивнул.

— Значит, уже ждут, кто придет вместо них.

Рута бросила плащ на крючок.

— Я сказала то же самое.

— Ты часто говоришь разумные вещи неприятным голосом.

— А ты часто приходишь поздно.

— Я спал.

— Роскошь.

Остан снял мокрые перчатки и положил на край стола. Потом присел так, чтобы быть ниже прилавка, но не близко.

— Я Остан. У меня плохая нога и хороший нож. Нож оставлю у двери, если хозяйка велит.

Тивен молчал.

Остан посмотрел на меня.

— Велит?

— Оставь.

Он без спора вынул нож из-за пояса, положил на пол у двери, потом отодвинул ногой подальше от себя. Не театрально. Просто сделал.

Тивен видел.

Это было важнее любых слов.

— Ты можешь сидеть у заднего входа? — спросила я Остана.

— Могу. Но сначала скажи, кого мы не пускаем.

— Людей в серых плащах. С серым железом. Возможно, с печатями Черного Кряжа.

Остан на миг задержал взгляд на мне.

Он знал часть моей истории. Не всю. В Медном Броде знали, что я пришла с севера без денег и с ожогом на ладони. Знали, что не люблю драконьи гербы и не лечу людей, которые бросают детей как испорченный товар. Остальное город додумывал сам, каждый в меру испорченности.

— Возможно? — уточнил он.

— Пока возможно.

— А если придут не люди?

— Тогда не геройствуй.

— Я похож на идиота?

Рута фыркнула.

Остан даже не посмотрел на нее.

— Если придет дракон, — сказала я, — его задержит только то, что он сам решит остановиться.

Из-под прилавка донесся тонкий звук.

Я сразу повернулась.

Тивен опять зажал рот ладонью. Глаза были огромные, без сна, без детства, с одним голым вопросом: когда взрослые решат, что страх ребенка важнее их дел?

Я села рядом.

— Не сейчас.

Он смотрел на меня.

— Не знаю когда, — честно сказала я. — Но не сейчас. Пока ты в моей лавке, никто не войдет без моего решения.

Рута у печи пробормотала:

— И моего.

Остан добавил:

— И через задний двор тоже.

Тивен переводил взгляд с одного на другого. Не верил. Но запоминал.

Это был первый шаг.

Остан сел у задней двери, завернувшись в плащ. Рута

устроилась на низком стуле возле печи, сковороду положила на колени. Я осталась на полу рядом с прилавком, спиной к шкафу с травами.

Ночь тянулась длинно.

Тивен не спал. Иногда проваливался на несколько минут, потом вздрагивал, будто падал, и открывал глаза. Я не трогала его. Только пододвигала кружку с водой, когда он начинал облизывать сухие губы. Один раз он вытащил руку и взял ломоть хлеба. Второй раз спросил:

— Здесь дом?

Вопрос был тихим. Опасным.

— Нет, — сказала я.

Он застыл.

— Это лавка. Тут лечат, едят, иногда спят на полу, если Рута не ругается. Домом место становится не от вывески.

— А от чего?

Я посмотрела на запертый верхний засов.

— От того, что тебя не выгоняют, когда ты мешаешь.

Тивен долго думал над этим.

— Я мешаю?

Рута вскинулась, но я подняла руку, останавливая.

— Да, — сказала я.

Он побледнел.

— Больные всегда мешают. Их надо кормить, мыть, лечить, из-за них не спят, ради них портят дорогую мазь и спорят с плохими людьми у двери. Это нормально.

Он смотрел недоверчиво.

— Нормально мешать?

— Когда ты живой — да.

Рута отвернулась к печи. Остан у задней двери кашлянул, делая вид, что просто простыл.

Тивен медленно опустил голову на свернутое одеяло.

— В лавке можно мешать?

— Можно.

Он не ответил.

Через несколько минут дыхание у него стало ровнее.

Не спокойным. Просто ребенок наконец устал сильнее, чем боялся.

К утру дождь прекратился.

Перед рассветом Медный Брод всегда становился особенно неприятным: улицы серели, дома казались ниже, грязь честнее, люди еще не успевали придумать себе лица для нового дня. В это время хорошо видны те, кто не спал. Они двигаются иначе. Не как ранние работники, а как люди, которые провели ночь в ожидании.

Остан первый услышал лошадь.

Не одну.

Он поднял руку.

Мы все замерли.

За окнами сначала был только дальний глухой стук копыт по мостовой. Потом к нему добавился звон сбруи. Не возчики. Не городская стража. Слишком ровно, слишком тяжело.

Рута медленно поднялась со стула.

— Сколько?

Остан прислушался.

— Шесть. Может, восемь.

— Серые?

— Нет.

Я подошла к окну и осторожно отодвинула край ставни.

Верхняя улица оживала от чужого движения. Люди открывали двери и тут же закрывали их обратно. На повороте у кузницы показались всадники в темных плащах. На груди у первого блеснул знак: черное крыло с янтарной точкой.

Драугары.

За ними ехал человек без шлема.

Даже издалека я узнала посадку. Прямую, жесткую, будто любой конь под ним был продолжением приказа. Темные волосы, тяжелый плащ, лицо, которое пять лет стояло в моей памяти у обугленной колыбели.

Эррен Драугар спешил перед моей лавкой.

Под прилавком Тивен проснулся сразу, будто его имя произнесли вслух.

Я отпустила ставню.

В дверь еще не постучали.

Но в комнате уже стало тесно от прошлого.

Глава 4. Дракон за дверью

Эррен Драугар не постучал сразу.

Это было похоже на него.

Сначала дать миру понять, что он пришел. Заставить улицу замолчать. Поставить у дверей людей, которые умели держать мечи так, будто не оружие висело у них на боку, а часть позвоночника. Заставить даже утренний воздух стать тяжелее.

Только потом решить, достойна ли дверь его руки.

Я стояла у окна, не касаясь ставни, и слушала.

Лошади переступали копытами в грязи. Кто-то из всадников коротко отдал приказ. У кузницы Марека хлопнула дверь и тут же закрылась. На верхней улице плакал ребенок, которого быстро утащили внутрь. Медный Брод умел быть любопытным, но не был самоубийцей.

Драконий род у твоего крыльца — не зрелище. Это беда с гербом.

Рута стояла у печи, крепко держа сковороду, хотя против людей Драугара она годилась только для первого удара и красивой смерти.

Остан сидел у задней двери с таким видом, будто случайно зашел переждать дождь. Только рука у него лежала рядом с дубинкой, а глаза считали звуки снаружи.

Под прилавком Тивен не шевелился.

Он проснулся сразу, как подъехали лошади. Не спросил, кто там. Не надо было. У детей, которых долго держали взаперти, слух становится тоньше здравого смысла. Они узнают опасность раньше, чем взрослые успевают придумать ей имя.

Я присела возле прилавка.

— Тивен.

Он молчал.

Из темноты на меня смотрели глаза. В них не было сна. Только ожидание, что сейчас все решат за него.

— Я подойду к двери, — сказала я. — Ты остаешься здесь. Никто не увидит тебя, пока я не разрешу.

Он сжал чешую в руке.

— Он заберет.

— Нет.

Слово встало между нами крепче замка.

— Он дракон, — прошептал Тивен.

— А я хозяйка этой лавки.

Кажется, он не понял, почему это должно что-то значить. Может, и не должно было. Перед родовой силой, войском, печатями Черного Кряжа моя лавка была смешной вещью: два окна, старый прилавок, полки с травами, медная нить под порогом, соль в щелях, моя кровь на главной печати.

Но иногда человек выживает не потому, что у него есть крепость.

А потому, что у него есть место, где он наконец говорит: дальше нельзя.

Я поднялась.

— Рута, — сказала я тихо, — если я скажу “вода остыла”, ты уводишь Тивена через задний ход.

— Куда?

— В погреб под кухней.

— Там картошка.

— Сегодня у картошки будет сосед.

Рута кивнула.

— А если они пойдут за мной?

— Не пойдут. Им нужен он.

— Меня это не успокоило.

— Не должно было.

Я подошла к двери.

Остан поднялся.

— Открывать будешь?

— Нет.

— Хорошо.

— Встань не напротив двери. Сбоку.

Он без спора отошел к стене, туда, где тень от шкафа с сухими травами резала лицо пополам. Умный человек. Живой именно потому, что не стеснялся слушать.

На пороге пахло холодом, мокрой кожей и лошадьми. Под этим — слабый след драконьего жара. Темный янтарь. Горячий камень. Старая боль, которую я когда-то умела узнавать раньше, чем он входил в комнату.

Я положила ладонь на дверь.

Ожог от ночной печати дернул болью.

С той стороны кто-то сделал шаг.

Не стражник.

Я знала вес этого шага.

Пять лет назад он звучал по коридору к детской. Пять лет назад я ждала, что этот шаг принесет мне защиту. Вместо этого он принес приговор.

Теперь он стоял у моей лавки.

— Найра.

Не приказ. Не вопрос.

Мое имя.

В комнате стало слишком тихо. Даже Рута перестала дышать своим сердитым дыханием.

Я не ответила.

За дверью помолчали.

— Открой.

Вот теперь приказ.

Я посмотрела на верхний засов. На темную полоску серого железа, оставленную ночными гостями у самого края порога. На медную нить в стене, которая все еще держала тепло моей крови.

— Лавка закрыта, — сказала я.

Снаружи один из людей Драугара резко вдохнул. Наверное, не каждый день кто-то говорил их господину через дверь, что часы приема закончились.

Эррен не повысил голос.

— У тебя мой сын.

Под прилавком Тивен тихо ударился плечом о дерево.

Я не обернулась.

— У меня больной ребенок.

— Его имя Тивен Драугар.

— Я знаю его имя.

Молчание стало тяжелее.

— Открой дверь, Найра.

— Чтобы ты вошел с людьми, оружием и правом крови?

— Чтобы я увидел сына.

В его голосе что-то надломилось на последнем слове.

Я почувствовала это телом, будто трещину в стекле. Ненавидела себя за то, что слышала. Ненавидела память за то, что она тут же подняла из пепла старое: Эррен у колыбели, Эррен с мокрой простыней в руках, Эррен, который не спал третью ночь подряд, потому что у младенца рвался огонь. Не чудовище. Не чужак. Отец.

Но отцовская боль не открывала мою дверь.

— Ты видел его пять лет назад, — сказала я. — И все равно поверил, что он мертв, хотя тела не было.

Снаружи зашевелились. Кто-то негромко сказал:

— Милорд...

— Молчать, — отрезал Эррен.

Я слышала в этом слове Черный Кряж. Камень. Приказ. Старую власть, которая всегда получала ответ быстрее, чем успевала задать вопрос.

Затем он снова обратился ко мне:

— Отойди от двери.

— Нет.

— Я не стану обсуждать это через порог.

— А я не стану открывать его человеку, который начинает с приказа.

Пауза.

Долгая.

Я знала, как выглядит его лицо сейчас. Челюсть сжата. Глаза темнеют, пока янтарь не становится почти черным у края. На правой руке проступают жилы огня, не пламя, а тонкие линии под кожей. Он всегда сдерживал себя не потому, что не мог разрушить, а потому, что слишком хорошо знал, как легко у него это получится.

— Мой сын пропал пять лет назад, — сказал он. — Сегодня до меня дошла весть, что в Медном Броде найден мальчик с меткой Драугаров. Люди, которые могли быть причастны к его исчезновению, идут по следу. Если он здесь, его надо увезти в Черный Кряж.

Вот оно.

Красиво. Разумно. Почти правильно.

Только за словами стояла старая ловушка: увезти в Черный Кряж. Туда, где Тивена уже однажды забрали из детской. Туда, где Харвик Морн носил закон на серебряной цепи и прятал ложь в рукаве.

— Нет, — сказала я.

Снаружи кто-то снова двинулся. Уже резче.

— Ты отказываешь главе рода Драугар? — спросил незнакомый голос.

— Я отвечаю человеку за дверь. Если глава рода хочет говорить, пусть сначала вспомнит, что ребенок не сундук с печатями.

— Да как ты...

— Назад, — сказал Эррен.

Одного слова хватило. Чужой голос исчез.

Рута у печи беззвучно показала мне большой палец.

Не время, конечно. Но я почти улыбнулась.

— Найра, — сказал Эррен уже ниже. — Я не знаю, что тебе сказали и кто приходил ночью. Но если это Тивен, он в опасности.

— Он был в опасности пять лет.

— Я не знал.

— Это не сделало его годы короче.

Ответ ударил.

Я услышала, как он выдохнул.

Не знал.

Какие удобные слова. Чистые. Белые, как перчатки Вирны Кресс, хотя я еще не знала, что именно ее имя вернется в эту историю. “Я не знал” не снимает ошейник с детской шеи. Не стирает след серого железа. Не возвращает ночи, когда ребенок учился не плакать, потому что плач приносил взрослых.

— Я ищу его с той ночи, — сказал Эррен.

На этот раз я не смогла удержать усмешку.

— Правда?

— Да.

— Где?

Снаружи стало тихо.

— Что значит — где?

— Где ты искал? На дорогах? У переправ? В закрытых приютах? Среди детей без имен? У поставщиков серого железа? В списках обозов, которые выходили из твоих земель ночью? Или ты искал там, где совет разрешал тебе искать?

Молчание.

Я видела его почти ясно, хотя между нами была дверь. Видела, как он понял: вопрос не про дороги. Про власть. Про то, кто давал ему карту.

— Ты что-то знала, — сказал он.

— Я знала, что в детской не было тела.

— Ты говорила.

— А ты не слушал.

Слова вышли ровно.

Не крик. Не жалоба. Не попытка наконец получить из прошлого справедливость. Просто факт, острый и холодный.

Под прилавком зашуршало одеяло. Тивен не понимал всего, но чувствовал главное: два взрослых у двери говорили о той ночи, когда один был потерян, а вторую сделали виновной.

— Тогда открой, — сказал Эррен. — И скажи мне сейчас.

— Нет.

— Найра.

— Я не буду доказывать свою честность перед твоими людьми.

— Их можно убрать.

— Можно. Но дверь все равно останется закрытой, пока ты не услышишь правила.

— Правила? — в голосе одного из стражников мелькнуло недоверие.

Я почти пожалела его. Наверное, человеку, который всю жизнь открывал двери перед родовым знаком, трудно было понять, что у бедной лавки тоже могут быть правила.

— Да, — сказала я. — Правила.

Эррен не ответил сразу.

Потом произнес:

— Говори.

Наконец-то.

Я положила ладонь на засов, но не сдвинула его.

— Первое. Никто не входит с оружием.

— Это невозможно.

— Тогда никто не входит.

— Найра, у меня снаружи люди, которые должны защищать наследника.

— Они будут защищать улицу. Ребенка они увидят только после того, как я решу, что их руки чисты.

— Ты не имеешь права...

Я резко ударила ладонью по двери.

Не сильно. Просто достаточно, чтобы внутри замолчали все, включая меня.

— Не говори мне о праве, Эррен Драугар.

Тишина стала живой и острой.

Я продолжила тише:

— Пять лет назад у меня не было права на слово. На защиту. На суд до приговора. На имя ребенка, которого я лечила. У тебя было право на все. И ты использовал его, чтобы изгнать меня. Поэтому сейчас в моей лавке твое право начинается там, где заканчивается страх Тивена.

С той стороны двери он молчал.

И впервые это молчание не было отказом слушать.

Я чувствовала его иначе. Как человека, которому пришлось остановиться перед тем, что он не может сдвинуть силой, не разрушив окончательно.

— Второе, — сказала я. — Никто не произносит при нем слово “забрать”.

Под прилавком Тивен резко вдохнул.

— Третье. Никто не касается его без разрешения. Моего или его.

— Он мой сын.

Глухо. Больно.

— Он ребенок. Сначала это. Потом все остальное.

Снаружи кто-то из лошадей фыркнул. Копыто ударило по камню.

— Четвертое, — сказала я. — Если ты войдешь, ты войдешь один.

— Нет, — отрезал он.

— Тогда стоишь за дверью.

— Его могут попытаться выкрасть.

— Уже пытались. Твои люди приехали после.

Удар был жесткий. Я знала. Но не собиралась смягчать правду ради мужчины, который приехал с гербом и отрядом к ребенку, прячущемуся под прилавком.

— Один, — повторила я. — Без меча, без печатей приказа, без стражи.

— А если ты лжешь?

Я закрыла глаза.

Вот она, старая кость в горле.

Не “если это ловушка”. Не “если мальчику хуже”. Не “если враги рядом”.

А все то же.

Если ты лжешь.

Рута у печи тихо выругалась. Остан опустил глаза, будто хотел дать мне возможность не быть свидетелем собственного лица.

Я открыла глаза.

— Тогда ты потеряешь несколько минут, — сказала я. — А если лжешь ты, он потеряет жизнь.

За дверью было тихо так долго, что я услышала, как с полки упала капля с мокрой травы в глиняную миску.

Потом Эррен сказал:

— Я не лгу.

Впервые за все утро его голос прозвучал не как камень. Как человек, который удерживает себя на краю.

— Я тоже сказала это пять лет назад.

Он не ответил.

И правильно. На это нечего было ответить быстро.

Снаружи слышался металлический звук. Один. Потом второй.

Остан напрягся.

— Что он делает? — спросила Рута шепотом.

Я прислушалась.

Ремень. Пряжка. Ножны.

Эррен снимал оружие.

Не демонстративно. По звуку — медленно, с усилием, будто каждый предмет держался не на ремне, а на привычке. Меч лег на камень у крыльца. Потом кинжал. Потом что-то тяжелое — родовая печать приказа, скорее всего. Если он положил ее на землю перед моей дверью, половина Медного Брода завтра будет шептаться до хрипоты.

— Мои люди отойдут к кузнице, — сказал он. — Я войду один.

Рута негромко выдохнула.

Тивен под прилавком не шевелился. Но я знала: слышит все.

— Нет, — сказала я.

Снаружи воздух будто вспыхнул.

— Что еще?

Я коснулась пальцами ожога на ладони.

— Ты сказал “войдешь”. Я сказала: с приказами не входят.

Пауза.

— Найра.

— Нет.

Я сама удивилась, как спокойно прозвучал мой голос.

Пять лет назад я унесла с собой из Черного Кряжа много бесполезного: чужой приговор, обугленный лоскут, память о взгляде, который не поверил. Но кое-что оказалось нужным. Я научилась отличать мужчину, который сдерживает ярость ради цели, от мужчины, который действительно готов остановиться.

Мне нужен был второй.

Не для себя.

Для мальчика под прилавком.

— Если хочешь увидеть Тивена, — сказала я, — не требуй. Не входи. Не забирай. Попроси.

Снаружи никто не двигался.

Я почти слышала, как это слово проходит через него, как нож через старый шрам.

Попроси.

Глава Черного Кряжа не просил у изгнанных целительниц. Драконы не просили у женщин, которых их род уже однажды стер. Отец, нашедший потерянного сына, тем более

не должен был просить разрешения у той, кого считал виновной в его гибели.

Но за моей спиной был Тивен.

И если Эррен сейчас не сможет произнести одно простое слово, ему нельзя было видеть ребенка.

Ни сегодня.

Ни завтра.

Никогда.

Я ждала.

Рута не шевелилась. Остан тоже. В лавке пахло мокрой шерстью, остывшей похлебкой, кровью из моей ладони и травами, которые уже слишком долго висели под потолком, чтобы бояться драконов.

Наконец за дверью Эррен выдохнул.

Тяжело.

Не побежденно. Скорее так, как выдыхает человек, который впервые опустил груз не потому, что стал слабым, а потому что понял: с ним нельзя войти туда, где лежит ребенок.

— Найра, — сказал он.

Мое имя прозвучало иначе. Ни как приказ, ни как старая память.

Как обращение к человеку, от которого зависит ответ.

— Пожалуйста.

Слово было неровным.

Плохим.

Почти сорванным.

Но настоящим.

Под прилавком Тивен тихо всхлипнул.

Я стояла у двери, держа руку на засове, и впервые за пять лет поняла: прошлое не вернулось.

Оно пришло просить, чтобы его впустили.

Глава 5. Правила моей лавки

Я не открыла сразу.

Слово “пожалуйста” еще стояло между нами, неровное, непривычное, почти чужое в устах Эррена Драугара. Снаружи ждали его люди. Слева от двери на камне лежало оружие. На улице, наверняка, уже выглядывали из щелей те, кто вчера клялся, что никогда не сует нос в чужие беды.

А под моим прилавком сидел ребенок, который боялся собственного отца.

Я повернулась к Тивену.

Он смотрел на дверь так, будто за ней была не улица, а тот самый стол с белым камнем, холодными руками и серым железом на шее.

— Я открою, — сказала я тихо. — Он войдет один. Оружия у него нет. Ты можешь оставаться там, где сидишь.

Тивен не ответил.

— Если станет страшно, скажешь “вода остыла”. Помнишь?

Его губы дрогнули.

— И что?

— Рута уведет тебя через задний ход.

Рута у печи подняла сковороду чуть выше.

— Быстро уведу.

Остан добавил из тени:

— А я задержу тех, кто не понял с первого раза.

Тивен посмотрел на них, потом на меня. Взгляд был мутный от усталости, но уже не пустой. Он собирал нас по кускам и пытался понять, можно ли из этих кусков сложить что-то, кроме очередной ловушки.

— Он злится, — прошептал мальчик.

Я могла бы соврать.

— Да.

Он втянул голову в плечи.

— Но он не пройдет дальше, чем я разрешу, — сказала я.

— И ты не обязан к нему подходить.

Это он услышал.

Не поверил полностью, но услышал.

Я вернулась к двери, подняла верхний засов, потом нижний. Дерево под пальцами было теплым после ночной работы печати. Я оставила ладонь на створке еще на мгновение, чтобы круг под порогом узнал меня до того, как в лавку войдет чужая сила.

Потом открыла.

Эррен стоял на крыльце без меча.

Без плаща тоже. Плащ он, видимо, снял вместе с оружием и бросил на руки одному из людей. На нем была темная дорожная куртка, мокрая на плечах, высокая застежка у горла, кожаные перчатки. На правой руке, там, где у драконов сильнее всего проступает огонь, ткань чуть дымилась от сдержанного жара.

Его люди действительно отошли к кузнице.

Не далеко. Драугары не уходили далеко от своего господина. Но достаточно, чтобы у моей двери не было чужих сапог.

На камне у порога лежали меч, кинжал и тяжелая родовая печать приказа. Черный металл, янтарная вставка в центре, знак крыла. Я помнила такую. Пять лет назад этой печатью закрыли решение об изгнании.

Сейчас она лежала в грязи.

Я посмотрела на нее дольше, чем нужно.

Эррен заметил.

— Этого достаточно?

— Нет.

Его глаза вспыхнули.

— Ты сказала снять оружие.

— Я сказала: без оружия, без приказов, без стражи. Ты снял оружие и приказную печать. Теперь перчатки.

Он медленно опустил взгляд на свои руки.

— Зачем?

— Потому что Тивен помнит чистые перчатки.

Лицо Эррена изменилось.

Не резко. Он был слишком хорошо выучен для резких лиц на людях. Но я увидела, как по скуле прошла тень, а в глазах огонь стал глубже.

— Что?

— Снимай.

Один из его людей у кузницы сделал шаг вперед.

Эррен даже не повернул головы.

— Стоять.

Стражник замер.

Эррен стянул перчатки. Под ними руки были голыми, сильными, с тонкими ожоговыми рубцами на костяшках. Я знала эти руки слишком хорошо для женщины, которая пять лет пыталась забыть. Они держали младенца Тивена над чашей с теплой водой, когда его жар не спадал. Они сжимали край колыбели в ночь исчезновения. Они не удержали меня, когда меня выводили из детской.

Он протянул перчатки мне.

Я не взяла.

— Положи у порога.

Он положил.

— Теперь слушай внимательно, — сказала я. — Ты войдешь и остановишься у двери. Не сделаешь ни шага к ребенку, пока я не скажу. Не произнесешь “мой”, “заберу”, “наследник” и все, что заставит его ждать цепь вместо ответа. Не будешь рычать на Руту, Остана или меня. Не будешь требовать, чтобы он смотрел на тебя. Если он скажет уйти, ты выйдешь.

— Я выйду из комнаты, где находится мой сын, если шестилетний ребенок скажет мне уйти?

В голосе была сталь.

— Да.

Он смотрел на меня.

Я смотрела обратно.

Улица за его спиной молчала с таким вниманием, что, кажется, даже кони перестали переступать.

— Ты не понимаешь, что просишь, — сказал он.

— Понимаю. Я прошу тебя впервые поставить его страх выше своей боли.

Это было жестоко.

Но правда редко приходит с мягкой тканью на краях.

Эррен медленно вдохнул. Грудь поднялась, куртка натянулась на плечах. На миг мне показалось, что он все-таки отступит к привычному: к приказу, к силе, к праву крови. Но он посмотрел не на меня. Вглубь лавки. Туда, где за прилавком была темная ниша и ребенок, которого он еще не видел.

— Хорошо, — сказал он.

Одно слово.

Тяжелее, чем его “пожалуйста”.

Я отступила в сторону.

— Входи.

Когда Эррен переступил порог, печать под доской нагрелась сразу.

Не сработала против него. Просто проверила. Металл у двери едва слышно зазвенел, огонь в жаровне вытянулся тонким языком, воздух стал плотнее. Дракониий огонь вошел в маленькую лавку, где еще пахло детской горячкой, мазями, мокрой шерстью и страхом.

Эррен остановился в шаге от двери.

Как обещал.

Мне почти стало больно от этого “почти”. От запоздалой правильности. От того, как мало иногда нужно человеку сделать сейчас и как страшно много он уже не сделал тогда.

Он смотрел на лавку.

На полки с травами. На лежанку за занавесью. На стол с грязной водой и медной пластиной. На Руту со сковородой, которая глядела на него так, будто перед ней был не глава Черного Кряжа, а мужчина, плохо воспитанный собственной матерью. На Остана у задней двери.

И наконец на прилавок.

Вернее, на темноту под ним.

Тивена из дверей почти не было видно. Только край одежды, босая ступня и рука, сжимающая черную чешую.

Эррен не двинулся.

Но все в нем изменилось.

Я видела, как человек может выдержать удар мечом. Как может стоять после ожога, после потери крови, после приговора. Я видела, как Эррен пять лет назад держался в детской среди пепла. Тогда его боль была яростью: горячей, слепой, ищущей, кого сжечь.

Сейчас боль пришла иначе.

Она не вспыхнула.

Она сняла с него лицо.

На несколько мгновений Эррен Драугар перестал быть

главой рода, драконом, мужчиной, который привык занимать столько места, сколько хотел. Он стал отцом, увидевшим под прилавком не наследника, не знак крови, не доказательство заговора, а маленькую босую ступню ребенка, которого похоронил без тела.

Его рука дернулась.

Я шагнула между ним и прилавком.

— Нет.

Он остановился.

С трудом.

— Тивен, — произнес он.

Тихо. Почти не своим голосом.

Под прилавком ребенок вжался в стенку. Дерево скрипнуло от его плеча.

Эррен услышал.

И это добило его сильнее, чем если бы мальчик закричал.

— Тивен, — повторил он, еще тише. — Это я.

Никакого ответа.

Только дыхание. Сорванное, частое.

Эррен сделал полшага.

— Я сказал нет.

Он замер.

Я видела, сколько ему стоило не оттолкнуть меня. Не схватить. Не рвануть к сыну, не поднять его на руки, не убедиться кожей, дыханием, кровью, что ребенок живой.

Но он остался на месте.

И за это я не простила его.

Я просто отметила: первое правило он выдержал.

— Он боится тебя, — сказала я.

Эррен не отвел взгляда от прилавка.

— Почему?

Вопрос был такой простой, что я едва не рассмеялась.

Почему.

Потому что взрослые сделали мир местом, где ребенок боится собственного имени. Потому что чьи-то руки надевали ему серое железо на шею. Потому что никто из тех, кто должен был прийти, не пришел вовремя. Потому что у боли нет обязанности быть справедливой к тем, кто не знал.

— Пока не знаю всего, — сказала я. — Но он слышал твое имя не как спасение.

Эррен закрыл глаза.

Всего на миг.

— Кто?

— Серые.

Он резко посмотрел на меня.

— Кто они?

— Люди, которые пришли за ним ночью. Люди, от которых он сбежал. Люди, которые использовали серое железо.

На последних словах его лицо стало жестким.

— Серое железо запрещено.

— Как удобно для тех, кто ставит запрет на бумагу и ошейник на ребенка.

— В моих землях...

— Не начинай.

Он замолчал.

Рута у печи тихо хмыкнула. Я не стала смотреть на нее, иначе могла потерять нужную жесткость.

Эррен медленно опустил взгляд на пол у прилавка.

— Тивен, — сказал он, и на этот раз в голосе не было власти. Только хриплая попытка дотянуться, не наступив. — Я не заберу тебя силой.

Под прилавком стало очень тихо.

— Не сейчас, — прошептал Тивен.

Эррен вздрогнул.

Я видела это. Все видели. Даже Остан перестал притворяться мебелью у двери.

Три детских слова оказались точнее любого обвинения.

Не “не забирай”.

Не “не подходи”.

Не сейчас.

Значит, когда-то забирали. Когда-то приходили. Когда-то говорили, что не будет больно, не будет страшно, не навсегда.

Эррен медленно согнул пальцы, но не в кулак. Скорее так, будто удерживал пустоту.

— Никогда, — сказал он.

Тивен молчал.

Я не удержалась:

— Не обещай того, чему он не поверит.

Эррен посмотрел на меня.

В его взгляде была боль. И злость. И то, что когда-то стояло между нами в северном крыле: опасное знание, что мы слишком хорошо слышим друг друга, даже когда ненавидим сказанное.

— Что мне говорить?

Вопрос был не вызовом.

Он действительно не знал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.